

ШЕДЕВР ПОСТМОДЕРНИЗМА.
New York Post

ДВАЖДЫ ЛАУРЕАТ БУКЕРОВСКОЙ ПРЕМИИ
ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ ПО ЛИТЕРАТУРЕ

ДЖ. М.

КУТЗЕЕ

СЦЕНЫ ИЗ ЖИЗНИ ПРОВИНЦИАЛА

ОТРОЧЕСТВО • МОЛОДОСТЬ • ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ

Большой роман (Аттикус)

Джон Максвелл Кутзее

**Сцены из жизни
провинциала: Отрочество.
Молодость. Летнее время**

«Азбука-Аттикус»

1997-2009

УДК 821.111
ББК 84(6Южн)-44

Кутзее Д.

Сцены из жизни провинциала: Отрочество. Молодость. Летнее время / Д. Кутзее — «Азбука-Аттикус», 1997-2009 — (Большой роман (Аттикус))

ISBN 978-5-389-24143-5

Джон Максвелл Кутзее родился в Южной Африке, работал в Англии и США, живет в Австралии. Дважды лауреат Букера и лауреат Нобелевской премии по литературе, он не явился ни на одну церемонию вручения, почти не дает интервью и живет, можно сказать, затворником. О своем творчестве он говорит редко, а о себе самом – практически никогда. Тем уникальнее «автобиографическая» трилогия «Сцены из жизни провинциала», полная эпизодов шокирующей откровенности, – «перед читателем складывается подробнейший, без прикрас, мозаичный портрет творца, стремящегося только к тому, чего достичь нелегко. Далеко не все факты совпадают с тем, что мы знаем о биографии реального Кутзее, но тем интереснее возникающий стереоэффект» (The Seattle Times). От детства в южноафриканской глубинке, через юность в кейптаунском университете и холодном Лондоне к «летнему времени» зрелости – мы видим Кутзее (или «Кутзее») так близко, как не видели никогда: «автопортрет бескомпромиссно исповедальный и в то же время замысловато зыбкий» (The New York Review of Books). Трилогия выходит в переводе Сергея Ильина (1948–2017) – знаменитого интерпретатора произведений Владимира Набокова и Джозефа Хеллера, Т. Х. Уайта и Мервина Пика, Стивена Фрая, Мишеля Фейбера и многих других современных классиков. Перевод был подготовлен еще в 2011 году, но публикуется впервые.

УДК 821.111
ББК 84(6Южн)-44

ISBN 978-5-389-24143-5

© Кутзее Д., 1997-2009

© Азбука-Аттикус, 1997-2009

Содержание

* * *	7
От автора	10
Отрочество	11
Глава первая	11
Глава вторая	13
Глава третья	16
Глава четвертая	19
Глава пятая	23
Глава шестая	33
Глава седьмая	38
Глава восьмая	40
Глава девятая	42
Глава десятая	47
Глава одиннадцатая	50
Глава двенадцатая	63
Глава тринадцатая	67
Глава четырнадцатая	69
Глава пятнадцатая	74
Глава шестнадцатая	77
Конец ознакомительного фрагмента.	82

Джон Максвелл Кутзее

Летнее время

Памяти Д. К. К.

J. M. Coetzee

SCENES FROM PROVINCIAL LIFE:

BOYHOOD Copyright © J. M. Coetzee, 1997

Portions of this work first appeared in *Artes, Common Knowledge* (published by Oxford University Press), *Granta* and *West Coast Lin.*

YOUTH Copyright © J. M. Coetzee, 2002

SUMMERTIME Copyright © J. M. Coetzee, 2009

Portions of this book first appeared in *The New York Review of Books*.

Excerpt from *WAITING FOR GODOT* by Samuel Beckett.

Copyright© 1954 by Grove Press, Inc.

Copyright © renewed 1982 by Samuel Beckett.

Used by permission of Grove/Atlantic, Inc.

This selection has been altered by J. M. Coetzee

Boyhood, Youth and Summertime have been revised for this edition.

Copyright © J. M. Coetzee, 2011

By arrangement with Peter Lampack Agency, Inc.

350 Fifth Avenue, Suite 5300, New York, NY 10176-0187 USA.

All rights reserved

© С. Б. Ильин (наследники), перевод, 2023

© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023

Издательство Иностранка®

* * *

Со времен «Бесчестья» Кутзее не писал так тревожно и эмоционально.
The New Yorker

Шедевр постмодернизма.
New York Post

Читать «автобиографическую» трилогию Кутзее непросто, но это благодарный труд; перед читателем складывается подробнейший, без прикрас, мозаичный портрет творца, стремящегося только к тому, чего достичь нелегко. Далеко не все факты совпадают с тем, что мы знаем о биографии реального Кутзее, но тем интереснее возникающий стереоэффект.
The Seattle Times

В его книгах – меланхоличная красота и тихая сила. Читая Кутзее, поневоле удивляешься, как искусно этот современный мастер умеет «сублимировать» (по его собственному выражению) сырой материал жизни и любви, чтобы зафиксировать истину человеческого существования – истину, для слов неуловимую.
O, The Oprah Magazine

Озорная и неожиданно забавная книга, автопортрет бескомпромиссно исповедальный и в то же время замысловато зыбкий.
The New York Review of Books

Искренний пыл, сложное конструирование, первобытная страсть – эта трилогия бросает вызов привычному пониманию творчества Кутзее.
San Francisco Chronicle

Свое молодое «я» Кутзее изображает худосочным и претенциозным, но даже если это нарочитое смирение – лишь самовозвеличивание иными средствами, результат завораживает.
Entertainment Weekly

Кутзее виртуозно препарирует требования, которые мы предъявляем к искусству и творцам искусства.
TimeOut New York

С утонченным, почти невидимым героизмом персонажи Кутзее пытаются жить будничной жизнью; иногда им это даже удается.
The San Diego Union-Tribune

Кутзее вскрывает саму механику писательского ума до таких глубин, на какие мы не смели и надеяться.
The Nation

Привычная серьезность смягчается неожиданными проблесками юмора в этом впечатляющем дополнении к и без того внушительному творческому наследию.

PortlandOregonian.com

«Сцены из жизни провинциала» – несомненно художественная литература, и самой высшей пробы. Но никогда еще этот жанр не испытывали на прочность настолько провокативно и с таким мастерством. Кутзее – настоящий гений.

BookPage

У нас на глазах неуклюжий юнец превращается в настоящего художника.

The Wall Street Journal

Чистый, беспримесный восторг. Эта книга будет вас раздражать и веселить, ее герои – внушать то презрение, то сочувствие, но оторваться от нее вы не сможете.

San Francisco Chronicle

Безжалостный, лишенный малейшего намека на сентиментальность автопортрет художника в юности, выявляющий скрытые источники его творчества.

The New York Times

Уникальная, выжженная солнцем история о стыде и расе, о социальных рамках и – порой – уморительной растерянности.

The New Yorker

Воспоминания чувствительной души, вбирающей первичные жизненные импульсы для дальнейшего претворения в творчество.

The Washington Post Book World

Невероятно сильно, увлекательно, экономно и мастерски изложено.

The Boston Globe

Свою жизнь Кутзее описывает настолько искусно, точно и беспощадно, что порой читателю не хватает воздуха. Такой автобиографии вы еще не читали.

The Times

Публикация этой «автобиографической» трилогии в одном томе лишь подчеркивает дистанцию между реальностью жизни Кутзее и вымыслом его книг.

New Statesman

В трех частях – жизнь настолько замкнутая, настолько подавленная, настолько кипящая вежливой яростью и сдержанным отчаянием, что говорить о себе можно только в третьем лице.

Irish Times

Лишь писатель масштаба Кутзее способен размышлять об испорченной надежде юности так ясно и уравновешенно.

Daily Mail

От автора

Три части «Сцен из жизни провинциала» публиковались по отдельности как «Отрочество» (1997), «Молодость» (2002) и «Летнее время» (2009). Перед изданием под одной обложкой в текст их внесен ряд изменений.

Хочу поблагодарить Марилию Бандейру за помощь с бразильским вариантом португальского языка и наследников Сэмюэла Беккета за разрешение воспроизвести (вернее, перевернуть) цитату из «В ожидании Годо».

Отрочество

Глава первая

Они живут в поселке под самым Вустером, между железнодорожной линией и Государственной автострадой. Улицы поселка носят названия деревьев, однако деревья на них пока отсутствуют. Их адрес: Тополевая авеню, дом 12. Все дома в поселке новые и все одинаковые. Стоят они посреди разделенных проволочными изгородями больших участков красного глинозема, на котором ничего не растет. На заднем дворе каждого дома имеется домик поменьше – одна комната и уборная. И хотя прислуги у них нет, они называют это «комнатой прислуги» и «уборной прислуги». В комнате прислуги хранятся всякие вещи: газеты, пустые бутылки, поломанное кресло и старый, набитый волокном кокосовой пальмы матрас.

В дальней части двора они сооружают птичий вольер и селят в него трех кур, чтобы те несли для них яйца. Однако жизнь несушек складывается неудачно. Дождевая вода, неспособная просочиться сквозь глину, стоит по двору большими лужами. Птичий вольер обращается в дурно пахнущую трясику. На ногах несушек появляются непристойные опухоли, покрытые подобием слоновьей кожи. Хворые и сварливые, они перестают нестись. Мать обращается за советом к своей живущей в Стелленбосе сестре, и та говорит, что куры начнут нестись снова лишь после того, как им удалят роговые наросты, которые находятся у них под языками. И мать зажимает каждую курицу, одну за другой, между коленями, стискивает ее щеки, пока она не разевает клюв, и загоняет ей под язык изогнутый нож. Куры визжат и бьются, глаза их выпучиваются. Его пробирает дрожь, он убегает. Он думает о том, как мать отбивает на разделочном столе кухни предназначенное для тушения мясо, как режет его кубиками, думает о ее окровавленных пальцах.

Ближайшие к ним магазины находятся в миле езды по обсаженной эвкалиптами дороге. Матери, запертой в смахивающем на ящик поселковом доме, занять себя целый день нечем – кроме метения полов и уборки. Когда поднимается ветер, он наносит под двери мелкую охряную глиняную пыль, она просачивается в дом сквозь трещины оконных рам, пробивается под свесами крыши и через потолочные соединения. После продлившейся целый день бури у передней стены дома образуются наносы пыли высотой в несколько дюймов.

Они покупают пылесос. Каждое утро мать таскает пылесос из комнаты в комнату, втягивая пыль в его ревущую утробу, на боку которой изображен перепрыгивающий словно бы через забор красный улыбающийся домовый. Домовой: почему домовый?

Он играет с пылесосом, разрывая на полоски листок бумаги и следя, как они впархивают в трубу, точно несомые ветром листья. Проводит трубой над муравьиной тропкой – и пылесос засасывает насекомых, обрекая их на смерть.

Муравьев и мух в Вустере хватает, а блохи так и вовсе целыми ордами водятся. Вустер стоит всего в девяноста милях от Кейптауна, и тем не менее все здесь как-то хуже. Его ноги опоясаны – там, где кончаются носки, – кольцами блошиных укусов, которые он расчесывает, пока не образуется короста. Некоторыми ночами его донимает такой зуд, что он не может заснуть. Он не понимает, зачем им было уезжать из Кейптауна.

И мать его тоже одолевает беспокойство. Вот была бы у меня лошадь, говорит она. Тогда я хоть по вельду могла бы кататься. Лошадь! – отвечает отец. Леди Годивой стать норовишь?

Лошади она не покупает. А покупает взамен, никого не предупредив, велосипед – дамский, подержанный, черный. Велосипед до того тяжел и огромен, что, когда он пробует проехать на этой новинке по двору, ему не удастся даже педали провернуть.

Управлять велосипедом мать не умеет; впрочем, и лошадьё тоже. Покупая его, она полагала, что это дело простое. А теперь выясняется, что ей и поучиться-то не у кого.

Отцу не удастся скрыть ликование. Женщины не ездят на велосипедах, говорит он. Мать упорствует. Я не буду узницей в этом доме, говорит она, мне нужна свобода.

Поначалу появление у матери собственного велосипеда представлялось ему событием замечательным. Он даже воображал, как они, все трое, мать, он и его брат, катаются вместе по Тополевой авеню. Но теперь он слушает шутки отца, на которые мать способна ответить лишь угрюмым молчанием, и начинает проникаться сомнениями. А ну как отец прав и женщины не ездят на велосипедах? Если матери не удастся найти никого, желающего ее поучить, если ни у какой другой домохозяйки Реюнион-Парка велосипеда не имеется, так, может, женщинам и вправду кататься на них не положено?

Мать уходит одна на задний двор и пытается обучиться езде самостоятельно. Вытянув ноги по обе стороны велосипеда, она съезжает по склону к вольеру для птиц. Велосипед клонится набок, останавливается. Поскольку перекладины у его рамы нет, мать не падает, а просто глупо ковыляет некоторое время по склону, вцепившись в руль.

Сердце его восстает против матери. В этот вечер он присоединяется к насмешкам отца. Он хорошо понимает, какое это предательство. Теперь мать остается в полном одиночестве.

И все же велосипед она осваивает и ездит на нем, хоть и неуверенно, раскачиваясь, с трудом проворачивая тяжелые педали.

По утрам, когда он в школе, мать совершает экспедиции в Вустер. Только один раз он мельком видит, как она едет на велосипеде. На ней белая блузка и черная юбка. Она катит по Тополевой авеню к их дому. Волосы ее струятся по ветру. Выглядит она юной, совсем еще девочкой – юной, свежей и загадочной.

Отец, всякий раз, как ему попадает на глаза прислоненная к стене тяжелая черная машина, отпускает шуточки на ее счет. Рассказывает, как жители Вустера, побросав все дела, стоят и таращатся, разинув рты, на женщину, которая, тяжело трудясь, проезжает мимо них на велосипеде. «*Trap! Trap!*» – насмешливо кричат они: Тужься! Ничего смешного в этих рассказах нет, однако по окончании их он и отец всегда смеются. Что касается матери, она никогда с остроумным ответом не находится, нет у нее такого таланта. «Смейтесь, если вам так нравится!» – говорит она.

Потом, в один прекрасный день, она, ничего не объясняя, перестает ездить на велосипеде. И вскоре тот исчезает. Никто не говорит об этом ни слова, однако он знает, что мать потерпела поражение, что ее поставили на место и часть вины за это лежит на нем. Когда-нибудь я искуплю эту вину перед ней, обещает себе он.

Воспоминание о едущей на велосипеде матери не покидает его. Она крутит педали, уезжая по Тополевой, удаляясь от него, приближаясь к исполнению своего желания. Он не хочет, чтобы мать уезжала. Не хочет, чтобы у нее возникали свои желания. Он хочет, чтобы она всегда была дома, дожидалась его возвращения. Он далеко не часто объединяется с отцом, чтобы выступить против нее: в целом он склонен объединяться с ней против отца. Однако в этом случае он принимает сторону мужчин.

Глава вторая

С матерью он не делится ничем. Школьная его жизнь сохраняется в строгом секрете от нее. Она и не должна ничего знать, решает он, кроме табеля, который школа представляет родителям в конце каждой четверти, а в табеле он будет выглядеть непогрешимым. Первым учеником своего класса. Поведение его навсегда останется «Очень хорошим», успехи «Великолепными». И пока отчет будет безупречным, она не получит права задавать вопросы. Такой мысленный договор с ней он заключает.

А в школе происходит вот что: учеников секут. И секут каждый день. Мальчику приказывают нагнуться, прикоснуться к пальцам ног и лупцуют его тростью по задку.

Особенно любит учительница избивать его одноклассника по Третьему Стандартному, мальчика по имени Роб Харт. Учительницу Третьего Стандартного, вспльчивую женщину с крашенными хной волосами, зовут мисс Остхёйзен. Его родители откуда-то знают ее как Марию Остхёйзен: она играет в самодеятельном театре, замужем никогда не была. Ясно, что у нее имеется некая жизнь за пределами школы, однако представить себе эту жизнь он не в состоянии. Он вообще не в состоянии представить себе учителя, у которого имеется какая-то жизнь за пределами школы.

Приходя в ярость, мисс Остхёйзен вызывает Роберта Харта к доске, приказывает ему наклониться и принимается хлестать по ягодицам. Удары следуют один за другим быстро, на то, чтобы замахнуться, времени у мисс Остхёйзен почти не остается. К концу порки лицо Роберта Харта заливают краской. Однако он не плачет; собственно, краснеет он, скорее всего, потому, что долго простоял согнувшись. Зато у мисс Остхёйзен тяжело поднимается и опускается грудь, и вообще кажется, что у нее вот-вот брызнут слезы – а то и кое-что еще.

После таких ее припадков неуправляемой страстности класс затихает и остается притихшим до самого звонка.

Довести Роберта Харта до слез мисс Остхёйзен не удастся ни разу; возможно, потому она так на него и ярится и бьет его так сильно, сильнее, чем кого-либо еще. Роберт Харт старше всех в классе – он младше Роберта почти на два года (он вообще младше всех своих одноклассников); ему кажется, что между Робертом Хартом и мисс Остхёйзен происходит что-то такое, во что он не посвящен.

Роберт Харт высок, красив и бесшабашен. И хотя Роберт Харт не очень умен – и, может быть, даже не наберет необходимых для продолжения учебы баллов, – его тянет к этому мальчику. Роберт Харт – часть мира, пути в который он еще не отыскал: мира секса и побоев.

Что до него, он никакого желания получать порку от мисс Остхёйзен, да и от кого-либо еще, не питает. Сама мысль о такой возможности заставляет его корчиться от срама. Он готов на все, лишь бы избежать избиения. В этом отношении он ненормален, о чем хорошо знает. Да он и происходит-то из ненормальной, зазорной семьи, в которой не только не бьют детей, но еще и позволяют им обращаться к взрослым по именам, и в церковь там никто даже не заглядывает, и все целый день ходят обутыми.

У каждого учителя школы, и у мужчин, и у женщин, имеются собственные трости, и каждый волен использовать их по своему усмотрению. А каждая трость обладает индивидуальностью, характером, и все они хорошо известны мальчикам и порождают в их среде бесконечные разговоры. Школьники с видом знатоков и ценителей сопоставляют особенности тростей и разновидностей причиняемой ими боли, сравнивают технические приемы использования предплечий и запястий, усвоенные владельцем каждой из них. О стыде, который должен испытывать человек, когда его вызывают к доске, приказывают нагнуться и бьют по задку, у них даже речи никогда не заходит.

Не обладая личным опытом, он не может участвовать в этих беседах. И тем не менее знает, что боль – не самое главное. Если другие терпят ее, стерпел бы и он, обладатель куда более сильной воли. Чего он не стерпит, так это позора. А позор, опасается он, будет таким гнусным, таким пугающим, что, когда его вызовут к доске, он вцепится в свой стол и выходить к доске откажется. И это покроет его еще пущим позором: отдалит от других мальчиков, настроит их против него. Если его когда-нибудь соберутся выпороть, сцена получится до того унижительная, что вернуться после нее в школу он уже не сможет; в конечном счете ему останется только одно: покончить с собой.

Таковы ставки. Именно поэтому он не издает в классе ни звука. Именно поэтому всегда опрятен, всегда выполняет домашние задания и всегда знает ответ на любой вопрос учительницы. Он не может позволить себе оплошать. Если он оплошает, его могут побить; а побьют ли его, или он победит в борьбе за то, чтобы избежать побоев, это уже все равно: ему придется умереть.

И вот в чем странность: хватило бы всего одной порки, чтобы снять заклятие владеющего им страха. Он это хорошо сознает: если бы ему удалось каким-то образом проскочить через избиение до того, как он успеет обратиться в скалу и оказать сопротивление, если бы надругательство над его телом совершилось быстро и насильственно, он смог бы выйти из этого испытания нормальным мальчиком, способным легко включаться в дискуссии насчет учителей, их тростей и различных градаций и оттенков причиняемой ими боли. Однако сам он перескочить через этот барьер не может.

Вину за это он возлагает на мать, которая никогда его не бьет. Он, конечно, доволен тем, что ходит обутым, и берет в библиотеке книги, и с простудой остается дома, а в школу не идет, – всем тем, что отдаляет его от других мальчиков, – однако на мать, которая не смогла родить нормальных детей и заставить их жить нормальной жизнью, он гневается. Отец, если бы он взялся править домом, мигом обратил бы их всех в нормальную семью. Отец-то как раз нормален в каком угодно отношении. Он благодарен матери, которая защищает его от отцовской нормальности, иными словами, от случающихся иногда вспышек пьяной ярости, от отцовских угроз избить его. И в то же время гневается на нее, обратившую его в существо ненормальное, нуждающееся, чтобы жить и дальше, в защите.

Если говорить о тростях, так наибольшее впечатление производит на него не та, что принадлежит мисс Остхейзен. Самый большой страх внушает трость мистера Латегана, преподавателя столярного дела. Трость у него не длинная и не пружинистая – стиль, предпочитаемый другими учителями. Нет, она коротка, толста и похожа на какой-то обрубок – скорее палка или дубинка, чем трость. Если верить слухам, мистер Латеган наказывает ею только старшеклассников, потому что мальчикам помладше его наказания просто не выдержать. Уверяют также, что трость мистера Латегана заставляла даже тех, кто был без малого выпускником, реветь, молить о пощаде, мочиться в штаны и покрывать себя вечным бесчестьем.

Мистер Латеган – человек малого роста, с усами и коротко стриженными, стоящими торчком волосами. У него нет одного большого пальца: обрубок прикрыт аккуратным багровым шрамом. Мистер Латеган очень немногословен. Неизменно сух, раздражителен, как будто обучение мальчиков столярному делу – занятие, которое ниже его, которому он предается против собственной воли. Большую часть уроков он простаивает у окна класса, глядя на школьный двор, а мальчики тем временем производят неуверенные замеры, пилят, строгают. Иногда он приходит на урок со своей короткой «тростью» и, размышляя, лениво похлопывает ею себя по ноге. Обходя же класс и проверяя сделанное мальчиками, он презрительно указывает им на ошибки, но потом пожимает плечами и работу их принимает.

Мальчикам разрешается открыто шутить по поводу учительских тростей. Собственно говоря, это единственный допускаемый школой повод поддразнивания учителей. «Пусть споет, мистер Гувс!» – восклицают они, и запястье Гувса оголяется, и его длинная трость (самая

длинная в школе, даром что мистер Гувс – учитель всего лишь Пятого Стандартного) со свистом рассекает воздух.

С мистером Латеганом не шутит никто. Мистер Латеган и то, что его трость способна делать с учениками, которые почти уже взрослые, внушают благоговейный трепет.

Когда под Рождество отец встречается на ферме со своими братьями, разговор у них всегда обращается к школьным дням. Они вспоминают своих учителей и их трости; вспоминают холодные зимние утра, когда трость оставляла на ягодицах синие рубцы, а тело потом целыми днями хранило воспоминание о жгучей боли. В произносимых ими словах проступает нота ностальгии и приятного страха. Он жадно слушает их, но старается оставаться по возможности неприметным. Ему не хочется, чтобы, когда в разговоре возникнет пауза, они обратились к нему и спросили, какое место занимает трость в *его* жизни. Его никогда не били, и он сильно стыдится этого. Он не может говорить о тростях с легкостью и знанием дела, присущими этим мужчинам.

У него такое чувство, точно что-то в нем повредилось. Точно что-то медленно прорывается внутри его: некая перепонка, стена. Он как можно крепче обхватывает себя, чтобы удерживать этот прорыв в каких-то пределах. Удерживать в пределах, не остановить: остановить прорыв не способно ничто.

Раз в неделю его класс строем проходит по территории школы в спортивный зал, чтобы заняться ФП, физической подготовкой. В раздевалке все облачаются в белые майки и трусы. Затем проводят под руководством также одетого в белое мистера Барнарда полчаса, скача через гимнастического коня, или перебрасываясь набивным медицинболом, или подпрыгивая и хлопая над головой в ладоши.

Все это они проделывают босиком. Уже за несколько дней до этого его начинает томить страх ФП – придется разуваться добоса, а он привык к тому, что ступни его всегда закрыты. И однако ж, стоит ему снять туфли и носки, выясняется, что ничего в этом страшного нет. Он просто отстраняется от своего стыда, переодевается торопливо и живо, и ноги его оказываются такими же, как у всех прочих. Страх еще маячит где-то поблизости, ловя возможность вернуться, но это *его* страх, личный, другим мальчикам знать о нем совершенно ни к чему.

Затем наступает день, когда привычная рутина меняется. Из спортивного зала их отправляют на теннисные корты, чтобы они поучились играть в падл-теннис. Путь до кортов не близкий, ему приходится ступать осторожно, под ногами много камней. Гудрон корта раскалился под солнцем настолько, что он вынужден, чтобы не обжечься, перескакивать с ноги на ногу. Легче становится, лишь когда он возвращается в спортзал и обувается, но к вечеру он уже едва ходит, а мать, сняв с него дома туфли, обнаруживает на его ступнях волдыри и кровь.

Три дня он проводит дома, ноги заживают. На четвертый возвращается в школу с запиской от матери, гневной запиской, которую он прочитывает и одобряет. Подобно раненому воину, вернувшемуся, чтобы вновь занять место в общем строю, он, прихрамывая, идет по проходу к своему столу.

– Тебя почему в школе не было? – шепотом спрашивают одноклассники.

– Ходить не мог, от тенниса на ступнях волдыри выскочили, – шепчет он в ответ.

Он ожидает изумления и сочувствия, но получает взамен смешки. Даже те из одноклассников, что и сами ходят обутыми, не принимают его рассказ всерьез. Каким-то образом им удалось сообщить своим ступням загрубелость – такую, что волдырями те не покрываются. А у него ступни мягкие, и это, как выясняется, в знаки отличия не годится. И внезапно он оказывается в одиночестве – он, а с ним и его мать.

Глава третья

Ему так и не удалось понять, какое место занимает в семье отец. На деле для него не очевидно, что отец вообще имеет право присутствовать в ней. В нормальных семьях отец – самый главный: дом принадлежит ему, жена и дети живут под его властью. А в их случае, как и в семьях двух сестер матери, ядро составляют мать и дети, муж же – это более или менее довесок, экономическая составляющая наподобие платного жильца.

На его памяти *он* всегда был принцем их дома, а мать – несколько неуверенной в себе опекуней и растерянной заступницей – неуверенной и растерянной, потому что ребенку, он это знает, верховодить в доме не полагается. Если он и может испытывать к кому-то ревнические чувства, то не к отцу, а к младшему брату. Мать опекает и его: опекает и даже, поскольку брат хоть и умен, но не так, как он, – не так дерзок, не так безрассудно смел, – благоволит брату. На самом деле ему кажется, что мать старается все время держать брата под своим крылом, готовая отразить любую опасность, между тем как в его случае она стоит где-то в тени, вслушиваясь, ожидая, готовая прийти, если он позовет ее на помощь.

Он хочет, чтобы мать вела себя с ним так же, как с братом, но хочет этого как знака, доказательства ее любви, и не более того. И знает, что гневно вспыхнет, если мать хотя бы попытается взять его под свое крыло.

Раз за разом он загоняет ее в угол, требуя, чтобы она призналась, кого из двоих любит сильнее – его или брата. «Обоих люблю», – отвечает она, улыбаясь. Мать никогда не попадает в расставленные им ловушки. Даже самые изобретательные его вопросы – например: что, если дом загорится, а времени у нее будет только на спасение одного из них? – и те не берут ее врасплох. «Спасу обоих, – говорит она. – Наверняка спасу обоих. Но ведь дом не загорится». Он хоть и высмеивает мать за то, что она все понимает буквально, но к присущему ей упрямому постоянству относится уважительно.

Яростные нападки на мать – это одно из проявлений его характера, которые ему приходится тщательно скрывать от внешнего мира. Только они четверо и знают, какие потоки презрительных речей он на нее изливает, как высокомерно обращается с ней. «Если бы твои учителя и друзья знали, как ты разговариваешь с матерью...» – говорит, многозначительно грозя ему пальцем, отец. Он ненавидит отца за способность столь ясно видеть брешь в его доспехах.

Ему хочется, чтобы отец побил его, обратил в нормального мальчика. И в то же время он понимает: если отец посмеет ударить его, ему не будет покоя, пока он не отомстит. Если отец побьет его, он сойдет с ума – превратится в одержимого, в крысу, которую загнали в угол, и она бросается на всех, кто к ней подходит, щелкает ядовитыми клыками, слишком опасная, чтобы с ней связываться.

Дома он – раздраженный деспот, в школе – агнец, кроткий и тихий, сидящий в предпоследнем, самом неприметном ряду столов, старающийся не привлекать к себе внимания и замирающий от страха, когда начинается очередная порка. Однако, ведя двойную жизнь, он взвалил на свои плечи бремя мошенничества. Никому другому ничего подобного нести не приходится, даже брату, который представляет собой, и то еще в лучшем случае, его нервную, бледную имитацию. Вообще говоря, он подозревает, что брат, может быть, даже и нормален. И ему остается полагаться только на себя. Помощи ждать неоткуда. Он сам должен вырваться из детства, из семьи и школы, пробиться к новой жизни, где нужды в притворстве уже не будет.

Детство, уверяет «Детская энциклопедия», – это пора невинных забав, которую следует проводить в лугах, среди лютиков и крольчат, – или у домашнего очага, с увлекательной книжкой в руках. Такой образ детства ему совершенно чужд. Ничто из пережитого им в Вустере – и дома, и в школе – не ведет его к мысли, что детство может быть чем-то, помимо времени зубового скрежета и терпения.

Поскольку организация бойскаутов-«волчат»¹ в Вустере отсутствует, он получает разрешение вступить в отряд настоящих бойскаутов, даром что лет ему всего только десять. К приему в скауты он готовится с особым усердием. Отправляется с матерью в одежный магазин, чтобы купить форму: плотную оливково-бурую фетровую шляпу и серебряную кокарду, рубашку, шорты и чулки цвета хаки, кожаный ремень с бойскаутской пряжкой, зеленые погончики, зеленые резинки для чулок. Срезает с тополя палку в пять футов длиной, очищает ее от коры и проводит полдня с раскаленной отверткой в руке, выжигая на белой древесине палки всю азбуку Морзе и все сигналы флажкового семафора. На первое свое скаутское собрание он отправляется с палкой, свисающей с его плеча на зеленом шнуре, который он сам свил из трех потоньше. И когда он, салютуя двумя пальцами, принимает присягу, то выглядит наиболее безупречно экипированным из всех скаутов-новичков.

Жизнь бойскаута, обнаруживает он, состоит, как и жизнь школьника, из сдачи экзаменов. За каждый сданный тобой экзамен ты получаешь нашивку, которую пришиваешь к своей рубашке.

Экзамены следуют один за другим в строго определенном порядке. Первый – на вязание узлов: рифового, двойного рифового, колышки, булия. Этот экзамен он сдает, но без отличия. Как сдавать бойскаутские экзамены с отличием – как отличиться на них, – он не знает.

Затем следует экзамен на нашивку лесовика. Чтобы сдать его, нужно разжечь костер – без бумаги и всего с трех спичек. Зимним вечером, под холодным ветром, он складывает сбоку от здания англиканской церкви горку из веточек и кусков коры, а затем под наблюдением командира роты и начальника отряда скаутов начинает чиркать, одна за другой, спичками. Костер каждый раз не загорается, каждый раз ветер задувает крошечное пламя. Начальник отряда и командир роты отворачиваются и уходят. Они не произносят слов «ты провалился», и потому у него нет полной уверенности в провале. А вдруг они посоветуются и решат, что при таком ветре испытание становится не очень честным. Он ждет их возвращения. Ждет, что ему все-таки дадут нашивку лесовика. Однако ничего не происходит. Он стоит у кучки сучков, и ничего не происходит.

Никто даже не упоминает об этом ни разу. Так он впервые в жизни проваливает экзамен.

Каждый июнь, при наступлении каникул, отряд скаутов отправляется в лагерь. Если не считать недели, которую ему, четырехлетнему, пришлось провести в больнице, с матерью он никогда еще не разлучался. И тем не менее решает ехать со скаутами.

Ему выдают список вещей, которые он должен взять с собой. Одна из них – плащ-палатка. У матери плащ-палатки нет, да она и не знает, что это такое. Взамен она выдает ему красный резиновый надувной матрац. А в лагере он обнаруживает, что у всех прочих мальчиков правильные плащ-палатки цвета хаки имеются. И красный матрац мгновенно отделяет его от всех. Выясняется к тому же, что заставить себя испражняться над зловонной ямой в земле он, увы, не способен.

На третий лагерный день все отправляются на реку Бриде, плавать. И хотя, когда они жили в Кейптауне, он, его брат и кузен часто ездили поездом в Фисхук и проводили по полдня, карабкаясь по скалам, строя из песка замки и плещась в волнах, плавать по-настоящему он не умеет. Здесь же ему, бойскауту, предстоит переплыть реку и вернуться назад.

Рек он не любит – за мутную воду, за грязь, которая набивается между пальцами ног, за ржавые консервные банки и осколки бутылок, на которые так легко наступить; он предпочитает чистый и белый морской песок. Однако входит в воду и каким-то образом добирается, разбрызгивая ее, до противоположного берега. Там он вцепляется в корень дерева, нащупывает ногами дно и стоит, стуча зубами, по пояс в угрюмой воде.

¹ Для детей от 8 до 10 лет. – Здесь и далее примеч. перев.

Другие мальчики разворачиваются и плывут назад. Он остается один. Ничего не поделаешь, придется снова пускаться вплавь.

Добравшись до середины реки, он понимает, что смертельно устал. Перестает плыть, пытается нащупать дно, однако река слишком глубока, и он уходит под воду. Он вырывается на поверхность, пытается плыть дальше, но сил уже не осталось. И еще раз уходит на дно.

Он видит мать, сидящую в кресле с высокой, прямой спинкой и читающую письмо, в котором сообщается о его смерти. Рядом стоит брат и тоже читает поверх ее плеча.

А следом он обнаруживает, что лежит на речном берегу, и командир его отряда, Майкл, с которым он так и не решился заговорить, из робости, сидит на нем верхом. Он закрывает глаза, ему хорошо. Его спасли.

Целые недели после этого он думает о Майкле, о том, как тот рискнул собственной жизнью, бросился в реку, спас его. И каждый раз поражается мысли о том, какое это чудо, что Майкл заметил – заметил его, заметил, что он тонет. В сравнении с Майклом (который учится в Седьмом Стандартном, обладает всеми нашивками, кроме уж самых высоких, и скоро станет королевским скаутом) он – никто. И было бы более чем правильно, если бы Майкл не увидел, как он тонет, не хватился бы его, даже когда все возвратились бы в лагерь. А после этого от Майкла только и требовалось бы, что написать его матери спокойное, официальное письмо, начинающееся словами: «С сожалением извещаем вас о том...»

С того самого дня он сознает, что в нем есть нечто особенное. Он должен был умереть и не умер. Ему была дана, несмотря на всю его никчемность, вторая жизнь. Он был мертвым, но остался живым.

Матери он о случившемся в лагере не говорит ни слова.

Глава четвертая

Самая великая тайна его школьной жизни, тайна, о которой дома никто от него ни слова не слышал, состоит в том, что он обратился в католичество – стал, с любой практической точки зрения, католиком.

Дома говорить на эту тему затруднительно, потому что члены его семьи – они, по сути дела, никто. Конечно, они южноафриканцы, однако южное африканство – вещь отчасти сомнительная, и потому обсуждать ее не принято – ведь не каждый, кто живет в Южной Африке, непременно является южноафриканцем, во всяком случае настоящим.

В том, что касается религии, домашние его уж точно никто. Даже в семье отца, более надежной и заурядной, чем семья матери, в церковь ходить не принято. Сам он побывал там всего дважды – в первый раз, когда его крестили, во второй, чтобы отпраздновать победу во Второй мировой войне.

Решение «быть» католиком он принимает по наитию. В первое его утро в новой школе одноклассники строем уходят в находящийся в отдельном здании актов зал, на общее собрание, а он и еще трое новичков остаются. «Ты какой веры?» – по очереди спрашивает каждого учительница. Он смотрит направо, потом налево. Каков правильный ответ? И каков, собственно говоря, выбор вер? Это что-то вроде русских и американцев? Подходит его черед. «Какой ты веры?» – спрашивает учительница. Он потеет, не зная, что ответить. «Кто ты – христианин, римский католик или еврей?» – нетерпеливо интересуется она. «Римский католик», – говорит он.

Когда опрос заканчивается, учительница жестом приказывает ему и еще одному мальчику, сказавшему, что он еврей, остаться в классе; двое других, назвавшихся христианами, отправляются на собрание.

Они ждут, гадая, что с ними теперь будет. Однако ничего не происходит. В коридорах пусто, здание школы безмолвно, никого из учителей в нем не осталось.

Они выходят на игровую площадку, где и присоединяются к прочей не допущенной на собрание шухере. В это время года все играют в шарики; на пустых площадках непривычно тихо, слышно, как в воздухе перекликаются голуби, издалека доносится приглушенное пение. Они играют в шарики. Время идет. Наконец звон колокола извещает о завершении собрания. Все остальные ученики возвращаются – рядами, класс за классом. Некоторые, судя по всему, пребывают в дурном настроении. «*Jood!*» – шипит ему, проходя мимо, мальчик-африкандер: Жид! Когда он присоединяется к своему классу, никто ему не улыбается.

Этот эпизод внушает ему беспокойство. Он надеется, что на следующий день его и других новичков снова оставят в классе и попросят заново выбрать для себя веру. И тогда он, явно совершивший ошибку, исправит ее и станет христианином. Однако второго шанса ему не дают.

Отделение овец от козлищ повторяется дважды в неделю. Евреев и католиков предоставляют самим себе, христиане уходят на собрания, петь и слушать проповедь. В отместку за это – и в отместку за то, что евреи сделали с Христом, – мальчики-африкандеры, крупные, грубые, с бугристыми лицами, время от времени ловят еврея либо католика и лупят его кулаками по бицепсам, нанося короткие, жестокие удары, или заезжают коленом по яйцам, или заламывают за спину руки, пока он не начинает молить о пощаде. «*Asseblief!*» – шепчет пойманный ими мальчик: Пожалуйста! «*Jood! Vuilgoed!*» – шипят они в ответ: Жид! Грязь!

Как-то раз, во время большой перемены, двое мальчиков-африкандеров загоняют его в угол, а после утаскивают на самый дальний край регбийного поля. Один из них огромен и жирен. Он пытается умолить их. «*Ek is nie 'n Jood nie*», – говорит он: Я не еврей. Предлагает им покататься на его велосипеде – катайтесь хоть с полудня до вечера. И чем бессвязнее ста-

новится его лепет, тем шире улыбается жирный мальчик. Ясно, что именно это ему и нравится: мольбы, унижение.

Жирный достает кое-что из кармана рубашки – кое-что, делающее понятным, зачем его привели в безлюдное место: извивающуюся зеленую гусеницу. Друг жирного удерживает его руки за спиной, а жирный щиплет его за уголки челюсти, пока он не раскрывает рот, и засовывает туда гусеницу. Он выплевывает ее, уже надкушенную, уже пустившую сок ему в рот. Жирный раздавливает ее и размазывает остатки гусеницы по его губам. «*Jood!*» – говорит жирный, вытирая ладонь о траву.

В то роковое утро он примкнул к римским католикам из-за Рима, из-за Горация и двух его товарищей, которые с мечами в руках, в шлемах с гребнями и с неукротимой отвагой в глазах защищали мост через Тибр от этрусских орд. Ныне же он, шаг за шагом, узнает от других мальчиков-католиков, что на самом деле представляет собой католицизм. Эти католики ничего общего с Римом не имеют. А о Горации они и вообще не слышали. *Эти* католики посещают по пятницам, после полудня, уроки катехизиса; ходят на исповедь; получают причастие. Вот чем положено заниматься здешним католикам.

И вскоре старшие мальчики-католики загоняют его в угол и начинают допытываться: ходил ли он на уроки катехизиса, исповедовался ли, принял ли причастие. Катехизис? Исповедь? Причастие? Он не знает даже, что означают эти слова. «Я ходил, в Кейптауне», – уклончиво отвечает он. «Куда?» – спрашивают они. Названий кейптаунских храмов он не знает, ни одного, так ведь и они тоже. «В пятницу придешь на катехизис», – приказывают они. А когда он не приходит, доносят священнику, что в Третьем Стандартном учится вероотступник. Священник посылает ему записку, мальчики передают ее: он должен явиться на урок катехизиса. Он подозревает, что записку мальчики подделали, и в пятницу остается дома – носа оттуда не высовывает.

Старшие мальчики-католики ясно дают понять, что не верят рассказам о том, как он был католиком в Кейптауне. Однако он зашел слишком далеко, обратной дороги нет. Если он скажет: «Я ошибся, на самом деле я христианин», то покроет себя позором. А кроме того, пусть даже ему приходится сносить издевки африкандеров и допросы настоящих католиков, разве два глотка свободы в неделю не стоят того – два промежутка времени, в которые он может гулять по игровым площадкам, разговаривая с евреями?

В одну из суббот, после полудня, когда весь пришибленный жарой Вустер заваливается спать, он выводит из дома велосипед и едет на Дорп-стрит.

Обычно он объезжает Дорп-стрит стороной, поскольку на ней-то католическая церковь и стоит. Но сегодня улицы пусты, ниоткуда не слышно ни звука, только вода шелестит в колесах. И он якобы безразлично проезжает мимо церкви, притворяясь, что и не глядит на нее.

Церковь не так велика, как он себе представлял. Низкое здание с пустыми стенами и маленькой статуей над портиком: Дева, укрыв под капюшоном лицо, держит на руках младенца.

Он доезжает до конца улицы. Ему хочется развернуться, поехать назад, взглянуть на церковь еще раз, но он боится искушать судьбу, боится, что священник в черном выйдет на улицу и замашет ему руками, приказывая остановиться.

Католические мальчики донимают его глумливыми замечаниями, христиане преследуют, а вот евреи, те никого ни в чем не укоряют. Делают вид, будто совсем ничего не замечают. А кроме того, евреи тоже ходят обутыми. С евреями ему как-то уютнее. Не такие уж они и плохие, евреи.

Тем не менее и с ними следует быть поосторожнее. Потому что евреи, они везде, они, того и гляди, всю власть в стране захватят. Он слышит об этом отовсюду и в особенности от своих приезжающих в гости дядьев, двух холостых братьев матери. Норман и Ланс появляются летом, как перелетные птицы, хотя редко в одно с ними время. Они спят на софе, встают в одина-

дцать утра, часами бродят по дому, полуодетые, всклокоченные. У каждого есть машина; иногда их удается уговорить покатасть кого-нибудь после полудня, но, по всему судя, они предпочитают проводить время, куря, попивая чай и беседуя о прошлом. Вечером они ужинают, а после ужина играют до полуночи в покер или рами с теми, кого им повезет отговорить от сна.

Он любит слушать, как его мать и дядюшки в тысячный раз перебирают события детства, проведенного ими на ферме. Слушая эти рассказы, слушая поддразнивание и смех, которыми они сопровождаются, он испытывает счастье, ни с чем не сравнимое. В семьях его друзей таких историй не рассказывают. Это и отделяет его от них: у него за спиной две фермы, материнская и отцовская, и рассказы о них. Благодаря фермам он укоренен в прошлом; фермы делают его значительным человеком.

Есть еще и третья ферма: Скипперсклоф, близ Уиллистона. Но там у его семьи корней нет, ферма досталась ей после заключения брака. Тем не менее и Скипперсклоф тоже важна. Все фермы важны. Это пространства свободы, настоящей жизни.

В рассказах Нормана, Ланса и матери мелькают фигуры евреев, комичных, пронирыливых, но также коварных и бессердечных, точно шакалы. Евреи из Оудсхурна каждый год приезжали на ферму, чтобы покупать у их отца, его деда, страусовые перья. И убедили его отказаться от шерсти и отвести всю ферму под страусов. Страусы сделают его богачом, так они говорили. А потом настал день, когда рынок страусовых перьев рухнул. Евреи перья покупать отказались, и дедушка обанкротился. Все в тех местах обанкротилось, и фермы перешли в руки евреев. Вот так они и действуют, евреи-то, говорит Норман: евреям, им ни в чем верить нельзя.

Его отец возражает. Позволить себе поносить евреев отец не может, поскольку сам работает на еврея. Компания «Стэндэрд кэннерс», в которой отец служит бухгалтером, принадлежит Вольфу Хеллеру. Именно Вольф Хеллер и привез его в Вустер из Кейптауна, после того как отец лишился места на государственной службе. Будущее их семьи связано с будущим компании «Стэндэрд кэннерс», которая за те несколько лет, что ею владеет Вольф Хеллер, обратилась в гиганта консервного мира. Перед человеком вроде него, получившего юридическое образование, говорит отец, перспективы в «Стэндэрд кэннерс» открываются просто блестящие.

Так что суровая критика, которой подвергают евреев, на Вольфа Хеллера не распространяется. Вольф Хеллер заботится о своих служащих. Он даже подарки им делает на Рождество, даром что для евреев Рождество – звук пустой.

Дети Хеллера в вустерской школе не учатся. Если у Хеллера вообще есть дети, их, скорее всего, отослали в Кейптаун, в «Южноафриканскую школу-интернат», еврейскую во всем, кроме названия. А в Реюнион-Парке еврейских семей и вовсе нет. Вустерские евреи живут в самой старой, зеленой и тенистой части города. И хотя в его классе учатся еврейские мальчики, в гости они его никогда не приглашают. Он видит их только в школе да во время собраний, когда евреев и католиков отделяют от всех остальных и гнев христиан возгорается против них.

Впрочем, время от времени по причинам, которые остаются неясными, ограничение, дающее им свободу на время собраний, отменяется и их тоже призывают в актовЫй зал.

Там всегда тесно. Ученики старших классов сидят, мальчики из начальных стоят. Евреи и католики – их всего около двадцати – проталкиваются сквозь толпу в поисках свободного места. Кое-кто исподтишка хватается за лодыжки, норовя повалить на пол.

*Dominee*² уже стоит на сцене – бледный молодой человек в черном костюме при белом галстуке. Высоким, напевным голосом он читает проповедь, растягивая гласные и старательно выговаривая каждую букву. Когда проповедь завершается, все встают, чтобы помолиться. А что полагается делать католику, когда христиане молятся? Должен ли он закрыть глаза и шевелить губами или лучше притвориться, что его здесь и вовсе нет? Ни одного из настоящих

² Священник (афр.).

католиков он не видит и потому старается сделать так, чтобы глаза его становились на время молитвы бессмысленными и ни на что определенное не смотрели.

Dominee садится. Всем раздают сборники песен – наступает время пения. Одна из учительниц встает перед учениками, чтобы дирижировать их хором. «*Al die veld is vrolik, al die voëltjies sing*», – начинают младшие мальчики. Тут поднимаются на ноги старшекласники. «*Uit die blou van onse hemel*», – глубокими голосами запевают они, стоя по стойке смирно и сурово глядя прямо перед собой: это государственный гимн, *их* государственный гимн. Младшие школьники вторят старшим – неуверенно, нервно. Учительница склоняется к ним, машет руками, точно перья сгребает, стараясь поднять дух мальчиков, ободрить их. «*Ons sal antwoord op jou roepstem, ons sal offer wat jy vra*», – поют они: Мы ответим на твой призыв.

И вот все заканчивается. Учителя спускаются со сцены – первым директор школы, за ним *dominee*, а за ним все прочие. Школьники рядами покидают актовый зал. Чей-то кулак ударяет его по почкам, коротко, быстро, тишком. Он слышит шепот: «*Jood!*» А затем выходит под открытое небо – он свободен и может снова дышать свежим воздухом.

Несмотря на угрозы настоящих католиков, несмотря на висящую над ним опасность того, что священник навестит родителей и разоблачит его, он благодарен вдохновению, которое заставило его избрать Рим. И благодарен Церкви, приютившей его: он не питает сожалений и уходить из католиков не собирается. Если быть христианином означает петь гимны и слушать проповеди, а потом идти и мучить евреев, ни в какие христиане он подаваться не хочет. А если католики Вустера вовсе и не римские, если они ничего не знают о Горации и его товарищах, удерживавших мост через Тибр («Тибр, отец наш Тибр, коему молимся мы, римляне»), о Леониде и его спартамцах, которые удерживали проход в Фермопилах, о Роланде, удерживавшем проход от сарацинов, так он в этом не виноват. Он не может придумать ничего более героического, чем удержание прохода, ничего более благородного, чем смерть ради спасения других людей, которые потом плачут над твоим трупом. Вот кем ему хочется стать: героем. К этому и должен сводиться настоящий римский католицизм.

Стоит летний вечер, прохладный после долгого, знойного дня. Он в городском саду – играл здесь в крикет с Гринбергом и Гольдштейном: Гринберг учится хорошо, однако в крикет играет так себе; у Гольдштейна большие карие глаза, он ходит в сандалиях и любит порисоваться. Время позднее, больше половины восьмого. Сад, если не считать их троицы, пуст. В крикет уже не поиграешь: мяча не видно. И они затевают возню, такую, точно снова стали детьми, – катаются по траве, щекочут друг друга, хихикают и хохочут. Он встает, глубоко вздыхает. Волна ликования омывает его изнутри. Он думает: «В жизни не был таким счастливым. Хорошо бы навсегда остаться с Гринбергом и Гольдштейном».

Они расходятся. Все это правда. Ему хотелось бы жить так всегда – ехать на велосипеде по широким пустым улицам Вустера в сумерках летнего вечера, когда всех остальных детей уже загнали домой и только он один остается под открытым небом, точно король.

Глава пятая

Принадлежность к католикам – это часть его жизни, прибегаемая для школы. Предпочтение же русских американцам – тайна, настолько мрачная, что открыть ее он не может никому. Любовь к русским – дело серьезное. За нее могут отовсюду взашей погнать.

В ящике своего личного шкафа он держит альбом с рисунками, сделанными в 1947-м, когда им владела особенно сильная увлеченность русскими. На этих рисунках, выполненных темным свинцовым карандашом и раскрашенных цветными, русские самолеты сбивают в небе американские, русские корабли топят в море корабли американцев. Хотя страсти того года, когда из радиоприемников внезапно забили волны враждебности к русским и каждому приходилось выбирать, на чьей он стороне, теперь улеглись, он хранит свой тайную верность: верность русским, но еще в большей мере верность себе, каким он был, когда рисовал это.

Никто в Вустере о его любви к русским не знает. В Кейптауне у него был друг, Никки, с которым он играл в войну – оловянными солдатиками и пружинными пушечками, стрелявшими спичками; однако, когда он понял, чем рискует, то сначала заставил Никки поклясться в сохранении тайны, а затем, для пушей надежности, уверил его, что передумал и теперь любит американцев.

В Вустере же вообще никто, кроме него, русских не любит. Преданность Красной Звезде отделяет его от всех.

Где он подцепил эту безрассудную страсть, которая даже ему самому кажется странной? Имя его матери – Вера: *Vera* с льдистой заглавной *V*, острием летящей вниз стрелы. Вера, однажды сказала ему мать, – имя русское. И когда русские и американцы впервые предстали перед ним как противники, между которыми следует выбирать («Тебе кто больше нравится – Смэтс³ или Малан?⁴ Кто тебе больше по душе – Супермен или Капитан Марвел? Ты кого больше любишь – русских или американцев?»), он выбрал русских, как выбрал впоследствии римлян: потому что ему нравилась буква *p*, в особенности заглавная *P*, самая крепкая из букв.

Русских он выбрал в 1947-м, когда все остальные отдавали предпочтение американцам, а сделав выбор, начал читать о них. Отец купил трехтомную историю Второй мировой войны. Он полюбил эти книги и подолгу сидел над ними, читая, разглядывая фотографии русских солдат в белых лыжных халатах; русских солдат с автоматами, крадущихся среди развалин Сталинграда; всматривающихся в бинокли командиров русских танков. (Русский Т-34 был самым лучшим танком в мире – лучше американского «Шермана» и даже немецкого «Тигра».) Он снова и снова возвращался к картинке, на которой русский летчик закладывает на своем пикирующем бомбардировщике вираж над разгромленной, горящей немецкой танковой колонной. Он принимал все русское. Принимал сурового, но по-отечески заботливого фельдмаршала Сталина; принимал борзую, русского волкодава, самую быструю собаку на свете. Он знал о России все, что о ней следует знать: ее площадь в квадратных милях, ее годовое производство угля и стали (в тоннах), протяженность каждой из ее великих рек – Волги, Днепра, Енисея, Оби.

Потом он начал понимать – по неодобрению своих родителей, по недоумению друзей, передававших ему, что говорили *их* родители, слушая рассказы о нем: любовь к русским – это не по правилам, она запретна.

Похоже, что-нибудь непременно должно складываться к худшему. Чего бы он ни пожелал, что бы ни полюбил, рано или поздно оно обращается в тайну. Он начинает видеть в себе одного из тех пауков, что живут в земляных норах с устроенными сверху опускающимися дверцами.

³ Ян Кристиан Смэтс (1870–1950) – южноафриканский государственный деятель, приверженец Великобритании.

⁴ Даниэль Франсуа Малан (1874–1959) – также южноафриканский государственный деятель, но сторонник независимости от Великобритании, заложивший, придя в конце 1940-х гг. к власти, основы апартеида.

Такому пауку приходится то и дело удирать в свою нору, опускаться за собой дверцу и отгораживаться ею от мира, прятаться за ней.

В Вустере он хранит свое русское прошлое в тайне, прячет предосудительный альбом, в котором вражеские самолеты врезаются, оставляя за собой дымный след, в океан, а боевые корабли уходят носом вперед под воду. Он заменяет рисунки игрой в воображаемый крикет. Все, что для нее требуется, – это деревянная ракетка и теннисный мяч. Задача: как можно дольше не давать мячу упасть. Часами кряду он кружит вокруг обеденного стола, подбрасывая мяч в воздух. Все вазы и украшения из комнаты вынесены; каждый раз, как мяч ударяет в потолок, оттуда сыпется дождем тонкая красноватая пыль.

Он разыгрывает и настоящие матчи – одиннадцать бэтсменов с каждой стороны, у каждого по две подачи. Каждый удар засчитывается как пробежка. Когда его внимание ослабевает и бэтсмен пропускает мяч, его, бэтсмана, выводят из игры и он записывает свои очки на специальной доске. Цифры получаются колоссальные: пятьсот пробежек, шестьсот. Как-то раз Англия набирает тысячу – ни одной существующей в мире команде такое пока еще не удавалось. Иногда побеждает Англия, иногда Южная Африка; гораздо реже Австралия или Новая Зеландия.

Россия и Америка в крикет не играют. Американцы предпочитают бейсбол; а русские, судя по всему, не играют вообще ни во что – может быть, потому, что у них все время идет снег.

Чем занимаются русские, когда они не воюют, ему неизвестно.

Друзьям он о своем личном крикете не рассказывает, это игра домашняя. Как-то раз, в один из первых месяцев вустерской жизни, мальчик из его класса забрел к ним в дом через открытую дверь и увидел его лежащим на спине под стулом. «Что ты там делаешь?» – спросил мальчик. «Думаю, – не подумав, ответил он. – Мне нравится думать». И скоро об этом узнал весь класс: новичок оказался каким-то странным, ненормальным. Эта ошибка научила его осмотрительности. А осмотрительность, помимо прочего, сводится к тому, что лучше помалкивать, чем говорить.

Играет он также и в настоящий крикет – с любым, кто это умеет. Однако игры на пустой, раскинувшейся посреди Реюнион-Парка площади, на его нетерпеливый вкус, слишком медленны: бэтсмен вечно мажет по мячу или сшибает калитку, мячи постоянно теряются. А поиски их он ненавидит. Как ненавидит и пробежки по каменной площадке, при каждом падении обдирающей игроку в кровь ладони и колени. Все, что ему требуется, – это бита и хорошая подача.

Он обхаживает брата, которому всего-то шесть лет, обещает дать ему свои игрушки, пусть только побудет немного боулером на заднем дворе. Какое-то время брат подает ему мяч, потом начинает скучать, капризничать и вскоре убирается от греха подальше в дом, под защиту матери. Он пробует научить мать делать подачи, однако ей освоить эту премудрость не удается. Он то и дело выходит из себя, а мать только колышется от смеха, потешаясь над своей неловкостью. Так что он позволяет ей просто бросать ему мяч. И в конце концов решает, что зрелище получается уж слишком постыдное и слишком приметное с улицы: надо же, мать играет с сыном в крикет.

Он разрезает надвое жестянку из-под джема и приколачивает одну половинку к двухфутовой деревянной «руке», которую прилаживает к оси, пропущенной сквозь стенки утяжеленного кирпичами упаковочного ящика. «Руку» должна дергать вперед полоска отрезанной от покрышки резины, к которой он привязывает пропущенную сквозь крюк на ящике веревку. Он укладывает мяч в жестянку, отходит на десять ярдов, натягивает с помощью веревки резинку, прижимает веревку пяткой к земле, принимает позу бэтсмана и отпускает веревку. Иногда мяч летит в небо, иногда напрямик ему в лоб, но время от времени пролетает вблизи от него – такой ему удастся отбить. Он доволен: сам подает, сам отбивает – он одержал победу, нет на свете ничего невозможного.

Как-то раз на него нападает опрометчивая доверчивость, и он просит Гринберга и Гольдштейна поделиться с ним самыми первыми их воспоминаниями. Гринберг отвечает отказом – участвовать в такой игре ему неохота. Гольдштейн же рассказывает нечто длинное и бессмысленное о том, как его возили на берег моря, – он этот рассказ почти и не слушает. Ибо назначение игры состоит, разумеется, в том, чтобы он мог пересказать *свое* первое воспоминание.

Он смотрит на улицу, высунувшись из окна их квартиры в Йоханнесбурге. Смеркается. По улице несется издали машина. Собачка, маленькая, пятнистая, перебегает перед ней дорогу. Машина сбивает собачку: колеса проезжают точно посередине ее тела. Собачка уползает, визжа от боли, задние ноги ее парализованы. Она, конечно, умрет... но тут его отрывают от окна.

Воспоминание великолепное, превосходящее все, что удалось вычерпать из своей памяти бедному Гольдштейну. Но правдиво ли оно? Почему он высовывался из окна, если на улице было пусто? Действительно ли видел, как машина сбивает собаку, или просто услышал ее вой и подбежал к окну? Вполне возможно, что видел он только собаку, приволакивавшую задние ноги, а машину, ее водителя и все остальное придумал.

Есть у него и еще одно первое воспоминание, внушающее ему больше доверия, однако его он никому пересказывать не стал бы, и уж тем более Гринбергу с Гольдштейном, которые раструбят об этом по всей школе и обратят его в посмешище.

Он сидит рядом с матерью в автобусе. Время, надо полагать, холодное, потому что на нем красные шерстяные рейтузы и шерстяная шапочка с помпоном. Мотор автобуса урчит, они поднимаются к дикому, пустынному перевалу Свартберг.

В руке у него фантик от конфеты. Он выставляет фантик за окно, чуть приоткрытое. Фантик трепещет и похлопывает на ветру.

– Можно его отпустить? – спрашивает он у матери.

Та кивает. Он отпускает фантик.

Клочок бумаги взлетает в небо. Внизу нет ничего – только мрачная пропасть перевала, окруженная остроконечными горными пиками. Вытянув шею, он следит за бумажкой, продолжающей отважно порхать, пока она не скрывается из виду.

– Что с ним теперь будет? – спрашивает он у матери, однако она вопроса не понимает.

Таково еще одно его первое воспоминание, тайное. Он все время думает о фантике, одиноким в огромной пустоте, брошенном им, чего делать, конечно, не следовало. Когда-нибудь ему придется снова поехать на перевал Свартберг, отыскать фантик и спасти. Таков его долг: и умирать, не исполнив его, нельзя.

Мать от души презирает людей, у которых «руки не тем концом вставлены», – к числу их она относит его отца, но также и своих братьев, в особенности старшего из них, Роланда, который мог бы сохранить ферму, если бы работал как следует, чтобы расплатиться по долгам, да не сделал этого. Один из многочисленных дядьев с отцовской стороны (у него их насчитывается шесть кровных да еще пять, ставших дядьями в результате женитьбы), тот, которого она любит больше всех прочих – Жубер Оливье, – установил в Скипперсклофе электрогенератор, да еще и самостоятельно выучился на дантиста. (Во время одного из приездов на эту ферму на него напала зубная боль. Так дядя Жубер усадил его на стул под деревом, просверлил ему в зубе дырку – без всякой анестезии – и забил ее гуттаперчей. Такой дикой муки он в жизни своей не испытывал.)

Когда что-нибудь в их доме разбивается или ломается – тарелки, украшения, игрушки, – мать все чинит сама: связывает бечевками или склеивает. Поскольку узлов она вязать не умеет, все, что она связывает, разваливается. Что склеивает – тоже, но тут уже мать винит во всем клей.

Ящики кухонных буфетов заполнены погнутыми гвоздями, кусками веревок, скатанными из фольги шариками, старыми марками. «Зачем нам все это?» – спрашивает он. «На всякий случай», – отвечает мать.

Когда настроение у нее плохое, она отрицает всяческую книжную ученость. Детей следует посылать в ремесленные училища, говорит она, а оттуда – на работу. Выучиться на краснотеревщика или плотника, научиться работать с деревом – самое милое дело. Фермерство ее разочаровало: фермеры нынче разбогатели, слишком обленились и приобрели чрезмерную склонность к тому, чтобы выставлять напоказ свой достаток.

А все потому, что цена на шерсть подскочила до небес. Радио рассказывает, что японцы готовы платить по фунту стерлингов за фунт тонкой шерсти. Фермеры-овцеводы покупают новые машины и ездят отдыхать на приморские курорты. «Ты должен отдать нам часть твоих денег, раз так разбогател», – говорит мать дяде Сону, когда они приезжают в Фозельфонтейн. Говоря это, она улыбается, притворяется, будто шутит, но нет, ничего подобного. Дядя Сон смущается, бормочет в ответ какие-то слова, разобрать которые ему не удается.

Мать рассказывает, что ферма предназначалась не для одного дяди Сона, она была равными частями завещана всем двенадцати сыновьям и дочерям. Чтобы уберечь ее от продажи с аукциона, сыновья и дочери решили продать свои части дяде Сону и получили по долговой расписке на несколько фунтов каждая. А теперь, благодаря японцам, ферма стоит тысячи фунтов. И Сон обязан поделиться с родней деньгами.

Он стыдится грубости, с которой мать говорит о деньгах.

– Ты должен стать доктором или юристом, – говорит она. – Вот кто хорошие деньги зарабатывает.

А в другой раз она заявляет, что все юристы жулики. Он не спрашивает, как укладывается в эту картину отец, юрист, который хороших денег не зарабатывает.

Докторам плевать на пациентов, говорит мать. Они дают тебе таблетки, и все. А хуже всех доктора-африкандеры, потому что они еще и не смыслят ничего.

В разное время мать говорит то одно, то другое, и потому он не знает, что она думает на самом деле. Он и его брат спорят с ней, ловят ее на противоречиях. Если она считает, что фермеры лучше юристов, почему же тогда вышла за юриста? Если считает книжную ученость глупостью, зачем стала учительницей? Но чем больше они с ней спорят, тем шире она улыбается. Умение ее детей обращаться со словами доставляет ей такое удовольствие, что она соглашается с ними по всем пунктам, своих мнений почти не отстаивает – ей хочется, чтобы они побеждали в спорах.

Он ее удовольствия не разделяет. И не считает эти споры забавными. Он хочет, чтобы мать твердо верила хоть во что-нибудь. Рождаемые преходящими настроениями огульные суждения матери раздражают его.

Сам-то он станет, скорее всего, учителем. Такой будет его жизнь, когда он вырастет. Жизнь предстоит, похоже, довольно унылая, но что ему еще остается? Долгое время он намеревался стать машинистом. «Кем ты станешь, когда вырастешь?» – спрашивали его тетушки и дядья. «Машинистом!» – пищал он, и все кивали и улыбались. Теперь-то он знает, «машинистом» – это именно тот ответ, какого ждут от маленького мальчика, так же как от маленькой девочки ждут, что она скажет: «Медицинской сестрой!» Но он уже не маленький, он – часть большого мира, ему надлежит забыть о фантазиях, в которых он правил большим железным конем, и вести себя реалистично. В школе он учится хорошо, а в чем еще он хорош, не знает, значит следует остаться в школе и подниматься там со ступеньки на ступеньку. Возможно, когда-нибудь он даже инспектором станет. Во всяком случае, ни в какой офис он служить не пойдет: работать с утра до ночи и получать всего две недели отпуска в году? Ну уж нет.

Учителем чего он станет? Это он способен представить себе лишь очень смутно. Он видит человека в спортивном пиджаке и фланелевых брюках (так, судя по всему, одеваются

все мужчины-учителя), идущего по коридору с книгами под мышкой. Картина эта возникает только на миг и сразу исчезает. Разглядеть лицо он не успевает.

Он надеется, что, когда придет время, его не пошлют учительствовать в город вроде Вустера. Хотя, возможно, Вустер – это просто чистилище, через которое должен проходить человек. Возможно, людей посылают в Вустер, чтобы тем самым испытывать их.

Как-то раз мисс Остхейзен велит своим ученикам написать за время урока сочинение на тему «Что я делаю по утрам». Они должны описать то, что делают перед тем, как пойти в школу. Он понимает, чего от него ждут: рассказа о том, как он застилает кровать, моет после завтрака посуду, как нарезает бутерброды, которые понесет в школу. На самом-то деле ничем подобным он дома не занимается – все делает мать, – однако врет достаточно гладко, чтобы не попасться. Правда, описывая чистку обуви, он заходит слишком далеко. Обувь свою он ни разу в жизни не чистил. И потому пишет в сочинении, что сначала оттирает ее щеткой от пыли, а потом намазывает кремом. Против этого места мисс Остхейзен ставит на полях большой синий восклицательный знак. Он чувствует себя униженным и молится о том, чтобы она не заставила его прочитать сочинение вслух перед всем классом. В этот вечер он, чтобы не допустить такую же промашку еще раз, внимательно наблюдает за чистящей его обувь матерью.

Он позволяет матери чистить его обувь, как позволяет ей делать для него все, что ей хочется. Единственное, чего он ей больше не позволяет, – это входить в ванную комнату, когда он там голый.

Он знает, что он лжец, плохой человек, но не изменяется. Не изменяется, потому что изменяться не хочет. Возможно, его отличие от других мальчиков связано с матерью, с их ненормальной семьей, но оно связано также и с его враньем. Если он перестанет врать, ему придется чистить свои башмаки, разговаривать вежливо и вообще вести себя точь-в-точь как нормальные мальчики. И он больше уже не будет самим собой. А если он не будет самим собой, какой ему тогда смысл жить?

Он лжец, да еще и бессердечный: миру в целом он лжет, а к матери относится бессердечно. Он же видит: мать мучает то, что он, вырастая, все сильнее отдаляется от нее. И тем не менее ожесточает свое сердце и не жалеет ее. Единственное его оправдание состоит в том, что он безжалостен и к себе. Он врет всем, но только не себе самому.

– Как по-твоему, когда ты умрешь? – однажды спрашивает он у матери, бросая ей вызов и удивляясь собственной смелости.

– Я умирать не собираюсь, – отвечает она. Отвечает весело, однако в веселости ее присутствует некая фальшь.

– А если раком заболеешь?

– Раком заболевают только те, кого бьют в грудь. Я раком не заболею. Я буду жить вечно. И не умру.

Он понимает, почему мать так говорит. Она говорит так ради него и брата, чтобы они не беспокоились. Слова ее глупы, но он все равно благодарен ей за них.

Вообразить ее умирающей он не может. Мать – самое прочное и устойчивое, что есть в его жизни. Скала, на которой он стоит. Без нее он обратится в пустое место.

А груди свои она оберегает от ударов с большим тщанием. Самое первое его воспоминание – еще более раннее, чем те, что о собаке или о фантике, – это воспоминание о ее белых грудях. Он подозревает, что мог, когда был младенцем, причинять им боль, бить по ним кулаками, потому-то она сейчас и отказывает ему в них так решительно – она, не отказывающая ему ни в чем.

Рак – это великий страх ее жизни. Он же обучен тому, чтобы опасаться боли в боку, относиться к каждому ее уколу как к приступу аппендицита. Успеет ли «скорая помощь» доставить его в больницу раньше, чем прорвется аппендикс? Очнется ли он после наркоза? Мысль о том,

что его будет резать незнакомый доктор, ему не по душе. С другой стороны, у него появится шрам, будет что людям показать, а это хорошо.

Когда в школе на перемене всем раздадут изюм и арахис, он сдувает с арахиса красную, тонкую, точно бумага, кожицу, про которую говорят, что она собирается в аппендиксе и загнивает.

Он и сам увлеченно занимается собирательством. Собирает марки. Оловянных солдатиков. Карточки с изображением австралийских крикетистов, английских футболистов, автомобилей мира. Чтобы раздобывать их, приходится покупать пачки сделанных из обсыпанной сахарной пудрой нуги сигарет с розовыми кончиками. Карманы его вечно полны погнувшихся липких сигарет, которые он забыл съесть.

Он возится часы напролет с конструктором, доказывая матери, что умеет кое-что делать своими руками, и не хуже других. Собирает ветряную мельницу, которая на самом деле приводится в движение парой шкивов, – впрочем, крылья ее крутятся так быстро, что по комнате и вправду начинает гулять ветерок.

А еще он трусцой бежит по двору, подбрасывая на ходу теннисный мяч и ловя. Какова истинная траектория мяча: взлетает ли тот отвесно вверх, а после отвесно же падает, как это видит он, или описывает в воздухе подобие петли, которую мог бы увидеть неподвижный наблюдатель? Когда он заговаривает о таких вещах с матерью, в глазах ее появляется отчаянное выражение: мать понимает, что они важны, и стремится также понять почему, но не может. Он же хочет, чтобы мать интересовалась ими сама, а не только потому, что они интересны ему.

Если в доме возникает необходимость сделать что-то, чего ни он, ни она не умеют, – починить протекающий кран, к примеру, – мать призывает с улицы цветного, любого, какой мимо идет. Почему, сердито спрашивает он, ты так веришь в цветных? Потому что они привыкли работать руками, отвечает мать. *Поскольку* в школу они не ходили и *поскольку* книжной ученостью не обременены, хочет, похоже, сказать она, то и знают, как что устроено в настоящем мире.

Глупая какая-то вера – в то, что не учившиеся в школе должны знать, как починить кран или отремонтировать плиту, – и все же она настолько отлична от верований всех остальных людей, настолько эксцентрична, что он самому себе вопреки находит ее приятной. Пусть уж мать ждет от цветных чудес, все лучше, чем вообще ничего от них не ждать.

Он то и дело пытается добиться от нее хоть какого-то толку. Евреи – эксплуататоры, говорит мать, и тем не менее предпочитает докторов-евреев, поскольку они понимают, что делают. Цветные – соль земли, говорит она, но при этом вечно сплетничает с сестрами о людях, которые изображают белых, а у самих негритянская кровь по жилам течет. Он не в силах понять, как можно придерживаться одновременно верований, столь противоречивых. Что же, по крайней мере, у матери есть верования. И у ее братьев тоже. Норман, к примеру, верит в монаха по имени Нострадамус и в его пророчества насчет конца света; верит в летающие тарелки, которые по ночам садятся на землю и крадут людей. А вот представить себе отца и его родичей беседующими о конце света он не в состоянии. У них всего одна жизненная задача – избегать споров, никого не обижать и неизменно оставаться дружелюбными; в сравнении с родными матери они – люди скучные и пустые.

Он слишком близок к матери, и мать слишком близка к нему. И по этой причине семья отца – несмотря на участие в охоте и множество иных совершаемых им, когда он гостит на ферме, мужественных поступков – своим его не считает. Бабушка его поступила, быть может, и слишком сурово, отказав им троим в приюте, когда они, в 1944-м, жили на половину жалованья младшего капрала и были слишком бедны, чтобы покупать масло или чай. Однако инстинкт ее не подвел. Семья, которой правила тогда бабушка, была осведомлена о тайнах теперешнего дома № 12 по Тополевой авеню, в котором на первом месте стоит старший сын, на втором – второй, а мужчина – муж, отец – занимает последнее. То ли мать была недостаточно осторожна

и не сумела утаить этот секрет, то ли отец тишком пожаловался кому-то из родичей. Подобное извращение естественного порядка вещей родные отца находят глубоко оскорбительным для их сына и брата, а стало быть, и для них самих. Они не одобряют этого и, не позволяя себе грубостей, неодобрения своего не скрывают.

Иногда, разругавшись с отцом и пытаясь переиграть его по очкам, мать принимается горестно жаловаться на холодность, с которой относится к ней отцовская родня. Однако по большей части – ради сына, ибо она знает, насколько важное место занимает в его жизни ферма, а предложить взамен ее ничего не может, – мать старается снискать расположение этой родни, да еще и способами, которые он находит тошнотворными. Эти усилия матери стоят в одном ряду с ее шуточками по поводу денег, которые вовсе никакие не шуточки. У нее нет гордости. Или, говоря иными словами, ради него она готова на все.

Ему хочется, чтобы она была нормальной. Тогда и он смог бы стать таким.

То же самое с двумя ее сестрами. У каждой по одному ребенку, по сыну, и каждая опекает своего, душит заботами. Самый близкий его друг на свете – двоюродный брат Хуан, живущий в Йоханнесбурге: они переписываются, предвкушают, как будут вместе отдыхать на море. И тем не менее ему не нравится наблюдать за тем, как Хуан сконфуженно выполняет каждое распоряжение матери – даже когда ее нет поблизости и проверить она ничего не может. Из всей четверки сыновей только он не сидит целиком и полностью под каблуком у матери. Он вырвался на свободу, вернее, вырвался наполовину: у него есть друзья, которых выбрал он сам, он уезжает из дома на велосипеде, не говоря, куда направляется и когда вернется. А его кузены и брат друзей лишены. Все они бледные, все робкие, все сидят по домам под присмотром неистовых матерей – такими он их себе представляет. Его отец называет троицу сестер-матерей «тремя ведьмами». «Пламя, прядай, клокочи! Зелье, прей! Котел, урчи!»⁵ – говорит отец, цитируя «Макбета». И он, испытывая злобное наслаждение, соглашается с этим.

Когда жизнь в Реюнион-Парке особенно допекает мать, она говорит, что лучше бы ей было выйти за Боба Брича. Он эти слова всерьез не принимает. И все равно не может поверить своим ушам. Если бы она вышла замуж за Боба Брича, где же сейчас был бы он? И кем он был бы? Сыном Боба Брича? Или это сын Боба Брича был бы им?

Уцелело всего одно свидетельство реального существования Боба Брича, на которое он случайно натывается в одном из альбомов матери: нечеткая фотография двух молодых мужчин в длинных белых брюках – мужчины стоят, обняв друг друга за плечи, на морском берегу и щурятся от яркого солнца. Одного он узнает: это отец Хуана. А кто второй? – от нечего делать спрашивает он у матери. Боб Брич, отвечает она. Где он сейчас? Умер, говорит мать.

Он вглядывается в лицо покойного Боба Брича. И ничего общего с собой не находит.

Больше он ни о чем ее не расспрашивает. Однако, слушая сестер, складывая два и два, узнает, что Боб Брич приезжал в Южную Африку для поправки здоровья, что, проведя здесь год или два, возвратился в Англию и там умер. Умер от чахотки, однако разбитое сердце, намекают сестры, вполне могло ускорить его кончину – сердце, разбившееся потому, что темноволосяная молодая учительница с темными недоверчивыми глазами, с которой он познакомился в Плеттенберхбае, не согласилась стать его женой.

Он любит перелистывать фотоальбомы. Какими бы мутными ни были групповые снимки, ему всегда удается найти на них мать: девушку, в робком, настороженном облике которой он распознает женскую версию себя самого. По альбомам он прослеживает ее жизнь в 1920-х и 1930-х годах: сначала фотографии спортивных команд (хоккей, теннис), потом снимки, сделанные во время ее путешествия по Европе – в Шотландии, Норвегии, Швейцарии, Германии; Эдинбург, фьорды, Альпы, Бинген-на-Рейне. Среди ее памятных сувениров присутствует цан-

⁵ Акт IV, сцена 1 (перев. Ю. Корнеева).

говый карандаш из Бингена, сбоку у него имеется крошечная дырочка, и, если заглянуть в нее, увидишь замок на скале.

Иногда они перелистывают альбомы вместе, он и она. Мать вздыхает, говорит, что ей хочется еще раз увидеть Шотландию, ее вереск и колокольчики. Он думает: у нее была до моего рождения целая жизнь. И радуется за мать, потому что теперь у нее никакой жизни не осталось.

Ее Европа полностью отличается от Европы из фотоальбома отца, в котором южноафриканские солдаты позируют на фоне египетских пирамид или на булыжных улочках итальянских городов. Впрочем, в этом альбоме он разглядывает не столько фотографии, сколько перемешанные с ними листовки – те, которыми немецкие аэропланы забрасывали позиции союзников. Одна объясняет солдату, как устроить себе высокую температуру (нужно наестся мыла); другая изображает очаровательную женщину, сидящую с бокалом шампанского на коленях жирного, крючконосого еврея. «Тебе известно, где сейчас твоя жена?» – осведомляется подпись под картинкой. А еще у них в доме есть синий фарфоровый орел – отец нашел его под развалинами одного здания в Неаполе и привез в вещмешке домой: имперского орла, который теперь стоит на столе гостиной.

Тем, что его отец воевал, он гордится безмерно. Узнав, сколь немногие из отцов его друзей сражались на войне, он удивляется – и радуется. Почему отец дослужился всего лишь до младшего капрала, ему толком неизвестно: рассказывая друзьям об отцовских приключениях, он этого «младшего» тихо опускает. А еще он очень дорожит фотографией, снятой в Каире, в фотоателье, – на ней его красивый отец заглядывает, закрыв один глаз, в дуло винтовки: волосы аккуратно причесаны, берет засунут, как того требует устав, под погон. Будь его воля, эта фотография тоже стояла бы на каминной полке.

О немцах отец и мать держатся мнений противоположных. Отцу нравятся итальянцы (они сражались не от души, говорит отец: только одного и хотели – сдаться и возвратиться домой), а вот немцы ему ненавистны. Он часто рассказывает историю про немца, застреленного в сортире. Иногда в этом рассказе немца убивает сам отец, иногда один из его друзей, однако жалость во всех вариантах отсутствует, только насмешка над замешательством немца, который пытался одновременно и руки поднять, и штаны подтянуть.

Мать знает, что слишком открыто немцев лучше не хвалить, но порой, когда он и отец вместе насканивают на нее, об осторожности забывает. «Немцы – самый лучший народ в мире, – заявляет она. – Это ужасный Гитлер довел их до таких страшных страданий».

Ее брат Норман с ней не соглашается. «Гитлер научил немцев гордиться собой», – говорит он.

В 1930-х мать и Норман вместе путешествовали по Европе: не только по Норвегии и нагорьям Шотландии, но и по Германии – Германии Гитлера. Их семья – Брехеры, дю Били – происходит из Германии, по крайней мере из Померании, которая теперь находится в Польше. Хорошо ли это – происходить из Померании? Тут он не уверен. Но по крайности, он знает, откуда произошел.

– Немцы не хотели сражаться с южноафриканцами, – говорит Норман. – Они любят южноафриканцев. Если бы не Смэтс, мы ни за что не стали бы воевать против Германии. Смэтс – настоящий скелм, мошенник. Он продал нас британцам.

Отец и Норман недолюбливают друг друга. Когда отцу требуется уязвить мать – при их ночных ссорах на кухне, – он попрекает ее братом, который в армию не пошел, а маршировал вместо этого с «Оссеабрандвагом». «Это ложь! – гневно заявляет она. – Норман не состоял в „Оссеабрандваге“. Сам у него спроси, он тебе скажет».

Он спрашивает у матери, что такое «Оссеабрандваг», и она отвечает – да глупость, люди, которые с факелами в руках маршировали по улицам.

Пальцы правой руки Нормана желты от никотина. Живет он в Претории, в гостиничном номере, – уже три года там живет. На жизнь зарабатывает продажей составленной им брошюры

о джиу-джитсу, печатая объявления о ней в «Претория ньюс». «Изучайте японское искусство самообороны, – говорится в объявлениях. – Шесть простых уроков». Люди присылают ему по почте заказы и деньги, десять шиллингов, а он отправляет им брошюры: каждая состоит из одного сложенного вчетверо листка, на котором изображены различные захваты. Если джиу-джитсу денег приносит мало, Норман продает от имени агентства по недвижимости участки земли и получает за это комиссионные. Каждый день он до полудня лежит в постели – пьет чай, курит, читает журналы, «Аргоси» и «Лилипут». А после полудня играет в теннис. Двенадцать лет назад, в 1938-м, он стал чемпионом Западной провинции в соревнованиях одиночек. Он и сейчас еще строит планы насчет выступления на Уимблдоне, но уже в парных соревнованиях – если удастся найти партнера.

Под конец своего гостевания, перед тем как уехать в Преторию, Норман отводит его в сторонку и сует ему в нагрудный карман рубашки коричневатую банкноту, десять шиллингов. «На мороженое», – шепчет Норман: каждый год одни и те же слова. Он любит Нормана, и не только за подарки – хотя десять шиллингов – это огромные деньги, – но и за памятьливость, за то, что дядя никогда не забывает преподнести их.

Отец же отдает предпочтение другому брату, Лансу, школьному учителю из Кинг-Уильямс-Тауна, также служившему в армии. Есть еще третий брат, самый старший, тот, что потерял ферму, но о нем никто, кроме матери, не упоминает. «Бедный Роланд», – бормочет, покачивая головой, мать. Роланд женился на женщине, которая называет себя Розой Ракоста, дочерью польского графа в изгнании, хотя настоящее ее имя, по словам Нормана, – София Преториус. Норман и Ланс не любят Роланда из-за фермы, а еще за то, что он подкаблучник Софии. Роланд с Софией держат в Кейптауне пансион. Он был там однажды с матерью. София оказалась большой толстой блондинкой, расхаживавшей в четыре пополудни по дому в атласном пеньюаре и курившей вставленную в мундштук сигарету. А Роланд – тихим мужчиной с грустным лицом и красным, похожим на луковицу носом, который стал таким после того, как Роланда вылечили с помощью радия от рака.

Ему нравится, когда отец, мать и Норман затевают спор о политике. Он наслаждается их страстностью, пылом, смелыми высказываниями. А еще его удивляет то, что он оказывается согласным с отцом, которому меньше всего желает победы: англичане хорошие, а немцы плохие, Смэтс хорош, а националисты дурны.

Отцу нравится «Объединенная партия», нравится крикет и регби, и все же отца он не любит. Он этого противоречия не понимает, однако понимать и не хочет. Он еще до того, как узнал, так сказать, отца, до того, как отец вернулся с войны, решил, что любить его не станет. И потому не любит он, в некотором смысле, абстракцию: ему просто не хочется иметь отца, во всяком случае такого, который живет в одном с ним доме.

Особенно не нравятся ему отцовские привычки. Не нравятся так сильно, что он содрогается от омерзения при одной лишь мысли о них: о том, как громко сморкается отец по утрам в ванной, о распространяемом отцом парном запахе мыла «Спасательный круг», о колечке пены и сбритых волосков, которое отец оставляет в раковине ванной. А पुще всего ненавистен ему собственный запах отца. С другой же стороны, он вопреки своей воле любит опрятной одеждой отца, темно-бордовым платком, которым тот воскресными утрами повязывает вместо галстука шею, его подтянутой фигурой, живостью разговора, блестящими от бриолина волосами. Он и сам мажет волосы бриолином, отрачивает челку.

Походы к парикмахеру он тоже ненавидит – настолько, что даже пробует, добиваясь прискорбного результата, подстричь себя сам. Судя по всему, парикмахеры Вустера сообща решили, что мальчиков следует стричь коротко. Стрижка начинается с того, что электрическая машинка грубейшим образом выкашивает тебе волосы с боков головы и сзади, а продолжается под безжалостное щелканье ножниц, по завершении которого на голове остается какая-то щетка – ну и разве что маленький чубчик спереди. Еще до окончания стрижки он начинает

корчиться от стыда; потом платит шиллинг и бежит домой, со страхом думая о том, как пойдет завтра в школу, о ритуальном осмеянии, которому подвергается там каждый заново подстригшийся мальчик. На свете существуют настоящие стрижки и существуют те, свидетельствующие о злобности парикмахеров, которые приходится сносить в Вустере; однако куда нужно отправиться, что сделать или сказать и сколько заплатить, чтобы получить настоящую, он не знает.

Глава шестая

Он хоть и ходит субботними вечерами в биоскоп, однако фильмы уже не захватывают его так, как это было в Кейптауне, где ему снились кошмары, в которых с ним происходило то же, что с героями сериалов, – то его расшибали в лепешку падающие лифты, то он срывался с обрыва. Он не понимает, почему Эррол Флинн, который, кого бы ему ни приходилось играть, Робин Гуда или Али-Бабу, выглядит всегда одинаково, считается великим актером. Конные погони, вечно одни и те же, ему надоели. «Три придурка»⁶ начинают казаться глуповатыми. И трудно же верить в Тарзана, если актер, который его играет, то и дело меняется. Единственный фильм, который производит на него впечатление, – это тот, где Ингрид Бергман садится в поезд, который везет больных оспой, а потом умирает. Ингрид Бергман – любимая актриса его матери. Но если жизнь устроена именно так, не может ли и мать умереть в любую минуту, просто не удосужившись прочитать выставленную в окне табличку?

Есть еще радио. Передачу «Детский уголок» он уже перерос, но сохраняет верность сериалам: «Супермену», ежедневно передаваемому в 17:00 («Вставай! Вставай и улетай!»), и «Магу Мандрагору» – ежедневно в 17:30. Правда, любимая его постановка – «Арктический гусь» Пола Гэллико, которую «Служба А» передает по просьбам слушателей снова и снова. Это история дикого гуся, который проводит суда от Дюнкерка к Дувру. Он слушает ее со слезами на глазах. И хочет стать когда-нибудь таким же верным другом, каким был арктический гусь.

Передают по радио и постановку, сделанную по «Острову сокровищ», – один получасовой эпизод каждую неделю. У него есть эта книга, правда, читал он ее еще маленьким, не понимая, что там за история приключилась со слепым и черной меткой, хороший человек Долговязый Джон Сильвер или плохой. Теперь, после каждого услышанного по радио эпизода, ему снятся страшные сны с участием Джона Сильвера: сны о костыле, которым тот убивает людей; о коварной, слащавой заботливости, с которой опекает Джима Хокинса. Лучше бы сквайр Трелони не отпускал Долговязого Джона, а убил негодяя: он уверен, что Джон еще возвратится со своими головорезами и мятежниками, чтобы отомстить, – точно так же, как возвращается в его сны.

А вот «Швейцарский Робинзон»⁷ – передача куда более утешительная. Эта книга у него тоже имеется – с красивой обложкой и цветными картинками. Особенно нравится ему та, на которой под деревом стоит на спусковых салазках корабль, построенный швейцарской семьей с помощью инструментов, спасенных ею во время кораблекрушения, – корабль доставит домой и ее, и всех ее животных, совсем как Ноев ковчег. Так приятно покинуть Остров сокровищ и окунуться в мир швейцарской семьи. В нем нет ни плохих братьев, ни кровожадных пиратов; все радостно трудятся, выполняя указания мудрого, сильного отца (на картинке у него грудь колесом и длинная каштановая борода), с самого начала знающего, что нужно сделать, чтобы всех спасти. Он только одного не понимает – зачем им, так уютно и счастливо устроившимся на острове, вообще возвращаться куда-то.

Имеется у него и третья книга, «Скотт Антарктический». Капитан Скотт – один из его безусловных героев: оттого ему эту книгу и подарили. В ней есть фотографии, на одной из них капитан Скотт сидит и пишет что-то в той самой палатке, в которой потом замерз до смерти. Он часто разглядывает эти фотографии, однако в чтении самой книги далеко не продвинулся: она скучная, в ней нет увлекательного рассказа. Ему нравится только история про Тита Оутса,

⁶ *Three Stooges* – трио американских комиков, выступавшее в 1922–1970 гг. и снявшееся в 190 короткометражных фильмах студии *Columbia Pictures*.

⁷ *Der Schweizerische Robinson* (1812) – детский приключенческий роман швейцарского пастора и писателя Йоханна Давида Висса (1743–1818) о семье, попавшей на необитаемый остров после кораблекрушения.

который обморозился, – нравится, как тот подбадривал товарищей, а потом вышел в ночь, в снега и льды, и тихо, не поднимая шума, скончался. И он надеется, что когда-нибудь сможет стать таким, как Тит Оутс.

Раз в год в Вустер приезжает «Цирк Босуэлла». Все его одноклассники ходят на представления и целую неделю в школе только о цирке и разговаривают, ни о чем другом. На них даже цветные дети ходят в некотором смысле: эти ребята часами околачиваются вокруг шатра, слушают оркестр, подглядывают в щелки.

Они собираются посетить цирк в субботу вечером, когда отец будет играть в крикет. Мать хочет, чтобы получился праздник для всех троих. Однако, зайдя в кассу, с ужасом узнает, как дороги субботние билеты: 2 шиллинга 6 пенсов для детей, 5 шиллингов для взрослых. Денег, которые она взяла с собой, не хватает. Она покупает билеты ему и брату. «Идите, я здесь подожду», – говорит она. Ему идти не хочется, однако мать настаивает на своем.

Оказавшись внутри шатра, он чувствует себя несчастным, ничто его не радует; он подзревает, что и с братом творится то же самое. Когда представление заканчивается, они выходят из шатра и видят мать, которая так никуда и не ушла. И после этого он несколько дней не может отогнать от себя мысль о том, как мать терпеливо ждала их под жгучим декабрьским зноем, а он в это время сидел в цирке и его развлекали, точно какого-нибудь короля. Слепая, неодолимая, жертвенная любовь матери к нему и брату – к нему в особенности – беспокоит его. Лучше бы она не любила его так сильно. Мать любит его без памяти, значит и он должен любить ее без памяти: такую она ему навязывает логику. Разве сможет он когда-нибудь расплатиться с ней за всю ту любовь, которую она на него изливает? Мысль о том, что ему так и придется всю жизнь никнуть под гнетом этого долга, обескураживает и бесит его настолько, что он перестает целовать мать и даже прикасаться к ней отказывается. И когда она отворачивается от него с безмолвной обидой, он намеренно ожесточает себя, настраивает против нее, не желая ей уступать.

Временами, когда ее одолевают горькие чувства, мать произносит длинные монологи, которые обращает к себе самой, сравнивая в них свою жизнь в стоящем на бесплодной земле поселке с той, какую она вела до замужества, – изображаемую ею как непрерывный кругооборот приемов и пикников, субботних поездок на фермы друзей, тенниса, гольфа и прогулок с собаками. Говорит она негромко, почти шепотом, в котором выделяются лишь свистящие да шипящие звуки, а он сидит в своей комнате, брат – в своей, и оба напрягают слух, стараясь расслышать ее, о чем она наверняка знает. Вот еще одна причина, по которой отец называет мать ведьмой: разговаривает сама с собой, не иначе как заклинания творит.

Идилличность ее жизни в Виктории-Уэст подтверждают фотографии из альбомов: мать и еще какие-то женщины в длинных белых платьях стоят с теннисными ракетками посреди чего-то, похожего на вельд; или – мать обнимает за шею собаку, немецкую овчарку.

– Кто это? – спрашивает он.

– Это Ким. Самый лучший, самый преданный пес, какой у меня был.

– А что с ним случилось?

– Съел отравленное мясо, которое фермеры разбросали для шакалов. И умер у меня на руках.

В глазах ее стоят слезы.

После того как в альбоме появляется отец, собаки там больше не встречаются. Вместо них он видит отца и мать на пикниках – с друзьями, были у них в то время друзья – или одного отца в щегольских усиках, с самоуверенным видом позирующего у капота старомодного черного автомобиля. Потом появляются *его* фотографии, десятки фотографий, начиная с первой – пухлого младенца с пустым лицом держит перед камерой темноволосая напряженная женщина.

На всех этих снимках, даже на тех, что с младенцем, мать поражает его молоджавостью. Ее возраст – загадка, которая интригует его бесконечно. Она своих лет не открывает, отец приговаривается не знаящим их, даже ее братья и сестры, похоже, поклялись хранить эту тайну. Когда мать уходит из дома, он роется в документах, лежащих в нижнем ящике ее туалетного столика, ищет свидетельство о рождении, но безуспешно. По некоторым ее обмолвкам он знает, что мать старше отца, который родился в 1912-м, но насколько старше? Он решает, что мать родилась в 1910-м. Значит, когда родился он сам, ей было тридцать, а сейчас сорок. «Тебе сорок лет!» – торжествующе сообщает он матери и внимательно вглядывается в ее лицо, надеясь увидеть свидетельства своей правоты. Мать загадочно улыбается. «Мне двадцать восемь», – говорит она.

День рождения у них общий. Она родила его в свой день рождения. Это означает, говорит мать и ему, и всем прочим, что он – подарок от Бога.

Он называет ее не матерью и не мамой, а Динни. Как и отец, и брат. Откуда взялось это имя? Никто, по всему судя, не знает, однако братья и сестры зовут ее Верой – стало быть, не из детства. Он внимательно следит за тем, чтобы не назвать ее Динни при посторонних, так же как остерегается называть тетю и дядю просто Эллен и Норманом, а не тетей Эллен и дядей Норманом. Однако говорить «дядя» и «тетя», как полагается хорошему, послушному, нормальному ребенку, – это сущий пустяк в сравнении с велеречивостью африкандеров. Африкандеры не решаются говорить «ты» или «вы» тому, кто старше их годами. Он пародирует речи отца: *«Mammie moet 'n kombers oor Mammie se knieë trek anders word Mammie koud»* – Маме следует накрыть одеялом мамины колени, а то мама простудится. Хорошо, что он не африканец и не обязан разговаривать на такой манер, точно много раз поротый раб.

Мать решает, что ей нужна собака. Самые лучшие из них – немецкие овчарки, – они умнее и вернее всех прочих, однако найти кого-нибудь, продающего овчарку, им не удастся. И они останавливаются на щенке, который наполовину доберман, наполовину непонятно кто. Он настаивает, что имя собаке выберет сам. Лучше всего, конечно, был бы Борзой – он хочет, чтобы собака у него была русская, но, поскольку доберман – не борзая, он дает щенку кличку Казак. Что это значит, никто не понимает. Все думают, что *kos-sak* – «мешок с едой», – и посмеиваются.

Казак оказывается псом непонятливым, непослушным – бежит по окрестностям, топчет чужие огороды, гоняет кур. А однажды решает проводить его до школы. Отогнать дурака не удастся – он кричит, швыряется камнями: пес прижимает уши, прячет хвост между ног и исчезает, но, стоит ему усесться на велосипед, возвращается и снова скачет за ним. В конце концов ему приходится одной рукой волочить Казака за ошейник до самого дома, толкая другой велосипед. Домой он приходит разгневанным и в школу возвращаться отказывается, все равно опоздал.

Казак не успевает еще вырасти, как кто-то скармливает ему толченное стекло. Мать ставит несчастному клизмы, чтобы вымыть стекло из желудка, но безуспешно. На третий день пес уже просто лежит, задыхаясь, и даже руку ее не лижет. Мать посылает его в аптеку за новым лекарством, которое кто-то ей присоветовал. Он бежит туда, прибегает обратно – слишком поздно. Лицо у матери осунувшееся, замкнутое, она даже пузырек из его руки не берет.

Он помогает похоронить завернутого в одеяло Казака в глине, в самом низу их сада. И ставит на могиле крест, на котором написано краской: «Казак». Заводить другую собаку он не хочет – не стоит, если они вот так умирают.

Его отец играет за крикетную сборную Вустера. Что и могло бы стать для него еще одним знаком отличия, предметом гордости. Отец – юрист, а это почти так же хорошо, как доктор; он участвовал в войне; играл в регби за команду кейптаунской лиги; теперь играет в крикет.

Но у всего этого имеются неприятные уточнения. Как юрист отец больше не практикует. Он воевал, но дослужился лишь до младшего капрала. Играл в регби, однако во втором составе команды «Гарднз», а ее никто всерьез не принимает, потому что в Большой лиге она неизменно занимает последнее место. Теперь отец играет в крикет, но опять-таки за вторую сборную, на матчи которой никто не ходит.

Отец – боулер, не бэтсмен. Биту он как-то не так отводит, что ли, и потому промахивается по мячу.

Причина, по которой бэтсмен из отца не получился, состоит в том, что он вырос в пустыне Кару, где в крикет никто не играет, а значит, и научиться ему было не у кого. Подача мяча – это другое дело, подающими, боулерами, рождаются, не становятся.

Мячи отец подает медленные, крученные. И иногда сразу выбивает шесть очков, а иногда бэтсмен, увидев медленно плывущий к нему по воздуху мяч, теряет голову, замахивается что есть сил и мажет. Похоже, в этом метод отца и состоит: в терпении и коварстве.

Команду Вустера тренирует Джонни Уордл, играющий, когда на севере наступает лето, за крикетную сборную Англии. То, что Джонни Уордл согласился приехать сюда, – великая удача для Вустера. Это заслуга Вольфа Хеллера – Вольфа Хеллера и его денег.

Он стоит с отцом за тренировочной сеткой, наблюдая, как Джонни Уордл подает мячи бэтсмену первой сборной. Уордл, невзрачный коротышка с песочного цвета волосами, – боулер, предположительно медленный, однако, когда он разбегается и бросает мяч, тот летит на удивление быстро. Бэтсмен принимает его без большого труда и мягко отправляет в сетку. Следом подает кто-то другой, затем снова Уордл. И снова бэтсмен легко принимает его подачу. В итоге не побеждает ни бэтсмен, ни боулер.

Вечером он возвращается домой разочарованным. Он ожидал большего контраста между английским боулером и вустерским бэтсменом. Рассчитывал увидеть мастерство более загадочное, увидеть, как мяч вытворяет в воздухе странные фокусы, как летит над площадкой, ныряя, всплывая и вращаясь, – именно так должна выглядеть, если верить прочитанным им книгам по крикету, медленная подача. Чего он не ожидал увидеть, так это болтливого человечка, который только тем и отличается от других, что подает крученные мячи намного быстрее, чем сам он подает обычные.

В крикете он ищет большего, чем предлагает ему Джонни Уордл. Крикет должен походить на битву Горациев с этрусками или Гектора с Ахиллом. Если бы Гектор и Ахилл были просто двумя мужичками, рубившимися один с другим на мечах, о них и рассказать оказалось бы нечего. Но они не были просто двумя мужичками, они были могучими героями, имена их вошли в легенду. И он радуется, узнав в конце сезона, что Уордла вывели из сборной Англии.

Конечно, Уордл подает мяч кожаный. Он с таким не знаком: он и его друзья используют то, что у них называется «пробковым» мячом, сделанным из какого-то прочного серого материала, которому нипочем камни, миглом изодравшие бы кожаный мяч в лохмотья. Стоя у сетки и наблюдая за Уордлом, он впервые слышит странное посвистывание, издаваемое летящим к бэтсмену кожаным мячом.

А затем впервые получает возможность поиграть на настоящем крикетном поле. На среду, на вторую половину дня, назначен матч двух команд, состоящих из учеников начальных классов. Настоящий крикет означает, что и калитки будут настоящими, и драться за право защищать их ни с кем не придется.

Подходит его черед встать на стражу калитки. Со щитком на левой ноге и отцовской, слишком тяжелой для него битой в руках, он выходит на площадку. Удивительно, какая она, оказывается, огромная. Серое, пустое пространство – зрители сидят так далеко, что их можно считать несуществующими.

Он стоит на полоске уплотненной катками, покрытой зеленым кокосовым матом земли и ждет мяча. Это крикет. Говорят, что это игра, но для него она более реальна, чем его дом,

чем школа. В ней нет притворства, нет милосердия, нет вторых шансов. Есть только другие мальчишки, чьих имен он не знает, и все они против него. И мысль у них только одна: лишить его радости. Ни малейшей жалости к нему они не испытывают. Он один на этой огромной арене, один против одиннадцати, и защитить его некому.

Игроки встают по местам. Ему необходимо сосредоточиться, однако в голове его вертится мысль, которую он никак не может прогнать: мысль о парадоксе Зенона. Прежде чем стрела долетит до мишени, она должна пролететь половину разделяющего их расстояния; прежде чем пролетит половину, должна пролететь четверть; прежде чем пролетит четверть, должна... Он отчаянно пытается перестать думать о ней; но сами эти попытки взвинчивают его еще сильнее.

Боулер разбегается. Последние два удара его ступней о землю он слышит особенно ясно. А затем возникает пространство, в котором тишину нарушает только один звук – страшноватый шелест резко снижающегося к нему мяча. Именно это и выбрал он, когда решил играть в крикет: чтобы его снова и снова, пока он не потерпит неудачу, испытывал налетающий мяч, равнодушный, безразличный, безжалостный, ищущий брешь в его обороне, более быстрый, чем он ожидает, слишком быстрый для того, чтобы успеть очистить голову от царящей в ней неразберихи, собраться с мыслями, решить, что следует делать. И в самой середке этих размышлений, в середине этой середки, появляется мяч.

Он набирает две пробежки, отбивая мячи в состоянии сначала замешательства, а затем и подавленности. И выходит из игры, еще даже меньше понимая прозаичную манеру, в которой вел свою Джонни Уордл, непрестанно болтавший что-то, отпускавший шуточки. Неужели таковы все легендарные английские игроки: Лен Хаттон, Алек Беддсер, Денис Комптон, Сирил Уошбрук? Он не может в это поверить. Он считает, что по-настоящему играть в крикет можно только в молчании, в молчании и в страхе, с колотящимся в груди сердцем и пересохшим ртом.

Крикет – не игра. Крикет – это правда жизни. Если книги не врут и крикет действительно является испытанием характера, он не видит ни единой возможности пройти это испытание, но и не понимает, как от него уклониться. Тайна, которую ему удастся скрывать в каких угодно обстоятельствах, у калитки безжалостно выставляется напоказ. «Ну-ка, посмотрим, из чего ты сделан», – говорит мяч, со свистом летящий к нему, вращаясь, по воздуху. И он вслепую, не понимая, что делает, выкидывает перед собой биты – слишком рано или слишком поздно. Мяч находит себе лазейку, минуя биты, минуя щиток. А он обращается в боулера, он проваливает испытание, его разоблачили, и скрывать ему больше нечего, кроме слез, и он заслоняет лицо ладонью и, спотыкаясь, покидает площадку под соболезнающие, вежливые аплодисменты других игроков.

Глава седьмая

На его велосипеде стоит эмблема британского производителя стрелкового оружия – две перекрещенные винтовки и надпись «Смитс – Би-Эс-Эй». Велосипед он купил с рук за пять фунтов – на деньги, которые получил в подарок, когда ему исполнилось восемь лет. Это самая большая вещь, какая была у него в жизни. Когда другие ребята начинают хвастаться своими «рэли», он говорит, что ездит на «смитсе». «„Смитс“? Мы о нем и не слышали ни разу», – отвечают они.

Такого наслаждения, какое он получает, катаясь на велосипеде – клонясь набок, стремительно поворачивая, – не дает ему больше ничто. Каждое утро он едет на «смитсе» в школу – полмили от Реюнион-Парка до железнодорожного переезда, потом еще милю по тихой, идущей вдоль рельсов дороге. В придорожных канавах мурлычет вода, в кронах эвкалиптов воркует голуби, и время от времени дуновение теплого воздуха предупреждает его о ветре, который поднимется днем и погонит перед собой клубы красной глиняной пыли.

Зимой он отправляется в школу затемно. Велосипедный фонарик создает впереди пятно света, он едет, разрезая грудью мягкую бархатистость тумана, вдыхая его, выдыхая, слыша лишь шелест своих покрышек. Иногда по утрам руль остывает настолько, что голые ладони прилипают к металлу.

В школе он старается появляться пораньше. Ему нравится получать весь класс в свое распоряжение, бродить, огибая пустые столы, подниматься, опасливо оглянувшись, на учительское возвышение. Однако попадать в школу самым первым ему не удастся: его опережают братья Де-Дурнс – их отец работает на железной дороге, и в школу они приезжают шестичасовым поездом. Они бедны, бедны до того, что у них нет ни фуфаяк, ни блейзеров, ни обуви. Таких бедняков в школе немало, особенно в тех классах, где преподавание ведется на африкаансе. Даже ледяными зимними утрами они приходят в школу одетыми в тонкие хлопковые рубашки и шорты, из которых давно уже выросли – настолько давно, что их тощие бедра едва-едва движутся, скованные этой одежкой. Холод оставляет на их загорелых ногах меловые пятна, они дуют себе на ладони и притоптывают, а из носов у них вечно течет.

Однажды случилась вспышка стригущего лишая, и братьев Де-Дурнс обрили под ноль. И он увидел на их голых черепах завитки лишая; мать сказала ему, чтобы он и близко к ним не подходил.

Он предпочитает узкие, тугие шорты свободным. Одежда, которую покупает для него мать, всегда слишком свободна. Ему нравится смотреть на тонкие, гладкие коричневые ноги, обтянутые узкими шортами. В особенности на покрытые медовым загаром ноги светловолосых мальчиков. Самые красивые мальчики, с удивлением обнаруживает он, учатся в африкаанских классах, как и самые уродливые – с волосатыми ногами, кадыками и прыщами на лицах. Дети африкандеров очень похожи на детей цветных, считает он, неиспорченные, бездумные, безудержные, они достигают определенного возраста, и их поражает порча, и красота умирает в них.

Красота и желание: его тревожит чувство, которое рождают в нем ноги этих мальчиков, бессодержательные, совершенные и невыразительные. Что еще можно сделать с такими ногами, как не пожирать их взглядом? А желание – желание *чего*?

Так же воздействуют на него изображенные в «Детской энциклопедии» голые скульптуры: Дафна, преследуемая Аполлоном, Персефона, похищаемая Дитом. Но тут все дело в форме, в совершенстве формы. У него имеется идея совершенного человеческого тела, и когда он видит это совершенство воплощенным в белом мраморе, что-то подрагивает в нем, открывается некая пучина, он оказывается на грани падения.

Из всех тайн, отделяющих его от других мальчиков, эта, возможно, самая, по большому счету, худшая. Только в нем одном и текут эти темные эротические токи; посреди окружающей его невинности и нормальности только он один испытывает желания.

Это притом что язык африкандеров грязен до невероятия. Они владеют словарем непристойностей, далеко простирающимся за границы его словаря, им нипочем всякие *fok*, и *piel*, и *roes*, от односложной увесистости которых он в испуге отшатывается. Как они пишутся? Пока он не научится писать эти слова, ему не удастся мысленно их укротить. Пишется ли *fok* с *v*, что сделало бы его более почтенным, или с *f*, обращающей его в слово и вправду дикое, первобытное, лишенное предков? Словарь молчит, в нем таких слов нет, ни одного.

А существуют еще *gat*⁸, и *roep-hol*⁹, и иные слова вроде этих – ими осыпают друг друга поругавшиеся африкандеры, и силы их он не понимает. Что общего между задом и передом? Какое отношение имеют *gat* и прочие, такие грузные, горловые, черные, к сексу, с его манящей начальной *s* и таинственным иксом на конце? Он с отвращением выкидывает из головы заднепроходные слова, однако не оставляет попыток проникнуть в тайну *effies* и *FLs* – того, что обозначается ими, наблюдать ему не довелось, однако он знает, это как-то связано с тем, что происходит между юношами и девушками в старших классах.

И ведь не такой уж он и невежда. Он знает, как рождаются дети. Дети выходят – опрятными, чистыми и белыми – из материнского зада. Так сказала ему давно, когда он был еще маленьким, мать. Он верит ей безоговорочно: и гордится тем, что она открыла ему всю правду о младенцах так рано, в возрасте, в котором других детей все еще кормят небылицами. Это знак ее просвещенности, просвещенности ее семьи. Его двоюродный брат, Хуан, который на год моложе, чем он, тоже знает правду. А вот отец, когда заходит речь о младенцах и месте, из которого они появляются на свет, смущается и недовольно ворчит, что лишний раз и доказывает невежество отцовской семьи.

Правда, его друзья говорят иначе: младенцы, дескать, вылезают совсем из другой дырки.

Теоретические сведения о другой дырке, в которую вставляют пенис и из которой вытекает моча, у него имеются. Но чтобы из нее еще и дети на свет выходили – это бессмыслица. В конце концов, младенец же созревает в животе. Значит, и выходить должен сзади.

Поэтому он выступает за попу, хотя друзья его отдают предпочтение другой дырке, той, которая *roes*. Но он спокойно верит в свою правоту. Она – часть доверия, которое питают друг к дружке он и его мать.

⁸ Дыра, отверстие (афр.).

⁹ Первая половина – испражнение, кал, попа (нидерл.), последняя половина – дыра, нора, анус (афр.).

Глава восьмая

Он и его мать переходят площадь у железнодорожной станции. Он идет с матерью, но и сам по себе, за руку ее не держит. Одет он, как и всегда, в серое: серая фуфайка, серые шорты, серые чулки. На голове – темно-синяя шапочка с эмблемой Вустерской мужской начальной школы: окруженный звездами горный пик и девиз PER ASPERA AD ASTRA¹⁰.

Он всего лишь мальчик, идущий рядом с матерью, и со стороны выглядит, надо полагать, совершенно нормальным. Но сам он мысленно видит себя снующим вокруг нее, точно таракан, описывающим нервные круги, опустив нос к земле и суча ногами и руками. Собственно, ничто в нем, думает он, не остается спокойным. В особенности ум, который рвется то туда, то сюда, выполняя приказы собственной нетерпеливой воли.

Именно на этом месте цирк раз в году расставляет шатры и клетки, в которых дремлют на вонючей соломе львы. Но сегодня оно выглядит всего лишь участком красной глины, утоптанной до состояния камня, так что на ней и трава не растет.

Людей здесь в это яркое и жаркое субботнее утро хватает. Один из них – мальчик его лет – быстро пересекает площадь, двигаясь под углом к нему и матери. И, едва увидев этого мальчика, он понимает, что тот станет важным для него, важным без меры, и дело даже не в самом мальчике (они могут больше никогда и не встретиться), но в мыслях, которые рождаются в *его* голове, грозя вырваться наружу, точно пчелиный рой.

Ничего необычного в мальчике нет. Он цветной, однако цветных, куда ни взгляни, полным полно. Штанишки на нем такие короткие, что плотно облегают его аккуратные ягодицы, оставляя стройные, забрызганные глиной бедра почти голыми. Он бос, подошвы его, наверное, тверды настолько, что, даже наступив на колючку, на *duwweltjie*, мальчик всего-навсего останется, склонится и смахнет ее со ступни.

Мальчиков, подобных ему, сотни, тысячи – и девочек в коротеньких платицах, не скрывающих стройные ноги, тоже тысячи. Вот бы и у него были такие же прекрасные ноги. Тогда бы и он плыл над землей, как этот мальчик, едва касаясь ее.

Мальчик проходит в дюжине шагов от них. Он погружен в себя, в их сторону не смотрит. Тело его совершенно, не испорчено, как если бы он только вчера родился на божий свет из раковины. Почему дети, подобные ему, мальчики и девочки, которые в школу ходить не обязаны, которым дана воля бродить вдали от недреманных родительских глаз, которые могут делать со своими телами все, что придет им в голову, – почему они не сходятся вместе ради празднества плотских угод? Не состоит ли ответ в том, что они слишком невинны и не знают, какие доступны им наслаждения, – что тайны эти открыты только темным, преступным душам?

Вот так и ведет себя каждый его вопрос. Поначалу убредает куда глаза глядят, но под конец непременно возвращается, собирается с силами и тычет в него пальцем. И всегда именно он приводит в движение вереницу мыслей; и всегда они перестают его слушаться и возвращаются, чтобы предъявить ему обвинения. Красота есть невинность; невинность есть неведение; неведение есть неведение о наслаждении; наслаждение есть преступление; он преступник. На самом-то деле, пройдя этим длинным путем, он уже начинает различать впереди слово «извращение», слышать его темную, сложную вибрацию, начинающуюся с загадочного *и*, которое ничего, вообще говоря, не значит, но быстро перескакивающую через безжалостное *в* к мстительному *р*. И не одно обвинение предъявляется ему, а два. Обвинения эти пересекаются, и он оказывается в их перекрестье, в прицеле снайпера. Ибо тот, кто явился сегодня, чтобы обвинить его, не просто легок, точно олень, и невинен, между тем как он темен, грузен и преступен: этот обвинитель еще и цветной, а это значит, что у него нет денег, что живет он в жалкой лачуге

¹⁰ Через тернии к звездам (*лат.*).

и ходит голодным; это значит, что, если мать крикнет сейчас: «Мальчик!» – и помашет рукой, а она вполне на это способна, мальчику придется притормозить, подойти к ним и сделать то, что она ему велит (поднести, к примеру, ее корзинку с покупками), а под конец принять в сложенные чашкой ладони три пенса и поблагодарить ее. Если же он осудит ее за это, мать лишь улыбнется и скажет: «Ну, они к этому привыкли!»

И получается, что этот мальчик, бездумно следовавший всю жизнь по пути естества и невинности, бедный и потому достойный, как всякий бедняк из сказки, тонкий и ловкий, как угорь, проворный, как заяц, способный взять над ним верх в любом состязании, требующем быстроты ног или искусности рук, – этот поставленный перед ним живой укор тем не менее обязан подчиняться ему, да еще и так, что его передергивает от стыда и он горбится и не желает даже вслед мальчишке смотреть, при всей его красоте.

Но ведь и не отмахнешься же от него. Еще от туземцев отмахнуться, может быть, и получится, но от цветных, от мулатов – никак. Туземцев можно не принимать в расчет, потому что они появились в этих краях последними, пришли с севера и никакого особого права жить здесь не имеют. Туземцы, которых он встречает в Вустере, – это по большей части мужчины в старых армейских шинелях, курящие крючковатые трубки и живущие в крошечных, похожих на шалаши конурках из рифленого железа, которые стоят вдоль железной дороги, – мужчины легендарной выносливости и силы. Их привозят сюда, поскольку они, в отличие от мулатов, не пьют, поскольку способны выполнять под палящим солнцем тяжелую работу, от которой более светлокотые и слабосильные мулаты быстро попадали бы с ног. Это мужчины без женщин, без детей, они появляются ниоткуда, и, значит, их можно отправить назад, в никуда.

А с мулатами такое не пройдет. Мулатов готтентотки нарожали от белых, от Яна Ван Рибек¹¹: это с определенностью следует даже из школьного учебника истории с его туманными иносказаниями. На деле же все обстоит еще и похуже. Ибо в Боланде люди, которых называют мулатами и цветными, – это вовсе никакие не праправнуки Яна Ван Рибек или еще какого-нибудь голландца. В физиогномике он разбирается – и, сколько помнит себя, всегда разбирался – достаточно хорошо, чтобы понимать: в них нет ни капли крови белого человека. Они – готтентоты, чистые и нетронутые. И они не просто составляют единое целое с этой землей – эта земля составляет единое целое с ними, она принадлежит им и принадлежала всегда.

¹¹ Ян Антониус Ван Рибек (1610–1677) – голландский колониальный деятель.

Глава девятая

Одно из удобств Вустера – и, согласно отцу, одна из причин, по которой они перебрались сюда из Кейптауна, – состоит в том, что покупки здесь делать гораздо проще. Молоко им привозят каждое утро еще до рассвета, а чтобы получить мясо и иные продукты, достаточно лишь снять с телефона трубку – и через час-другой на вашем пороге появится человек из магазина «Шохатс».

Человек из «Шохатса», мальчик-рассыльный, – это туземец, знающий всего несколько слов из африкаанса и ни одного английского. Он носит чистую белую рубашку, галстук-бабочку и бейсболку, на которой написано «Бобби Локк». Зовут его Джозиас. Родители Джозиаса не одобряют, по их мнению, он – представитель нового обленившегося поколения туземцев, один из тех, кто тратит все свои заработки на модные тряпки, а о будущем совсем и не думает.

Когда родителей нет дома, заказ от Джозиаса принимает он с братом. Они раскладывают продукты по кухонным полкам, прячут мясо в холодильник. Если среди продуктов попадается сгущенное молоко, они присваивают его в качестве законной добычи. Пробивают в банке дырочки и высасывают ее досуха. А когда мать приходит домой, делают вид, что никакой сгущенки не было – или что ее украл Джозиас.

Верит она их вранью или нет, он не знает. Впрочем, это не тот обман, который внушает ему особое чувство вины.

Соседи с восточной стороны носят фамилию Уинстра. У них три сына, старший, Джисберт, у которого колени вывернуты вовнутрь, и близнецы Эбен и Эзер, еще не доросшие до учебы в школе. Он и его брат насмеяются над Джисбертом Уинстрой за его глупое имя и беспомощное ковыляние, которое заменяет ему бег. Они приходят к выводу, что Джисберт идиот, умственно отсталый, и объявляют ему войну. Как-то под вечер они берут полдюжины доставленных мальчиком из «Шохатса» яиц, забрасывают ими крышу дома Уинстры и прячутся. Никто из Уинстр наружу не выходит, и солнце высушивает разбитые яйца, обращая их в уродливые желтые подтеки.

Радость, которую ощущаешь, бросая яйцо, такое маленькое и легкое в сравнении с крикетным мячом, глядя, как оно летит, кувыряясь, по воздуху, слыша мягкий шлепок при его встрече с крышей, остается с ним еще долгое время. Однако и она смешана с ощущением вины. Он же не может забыть, что играли они не с чем иным, как с едой. Какое право имели они обращать яйца в игрушку? Что сказал бы мальчик из «Шохатса», узнав, что они повыкидывали яйца, которые он вез им на велосипеде из самого города? Ему представляется, что мальчик из «Шохатса», который, вообще-то, и не мальчик, а взрослый мужчина, не настолько поглощен самим собой, своей бейсболкой «Бобби Локк» и галстуком-бабочкой, чтобы остаться безразличным к их поступку. Представляется, что он осудил бы их самым решительным образом и, не поколебавшись, сказал бы об этом. «Как вы можете так поступать, когда вокруг голодают дети?» – спросил бы он на своем дурном африкаансе, и ответить им было бы нечего. Возможно, где-то в мире каждый может бросаться яйцами (в Англии, например, принято, как он знает, забрасывать яйцами тех, что сидит на скамье подсудимых); однако в его стране судьи судят людей по справедливости. В его стране относиться к еде бездумно не принято.

Джозиас – четвертый туземец, с которым он познакомился за свою жизнь. Первого он помнит лишь смутно, как человека, весь день ходившего в длинной синей пижаме, – это был мальчик, мывший лестницы их йоханнесбургского многоквартирного дома. Второй была Фиэла из Плеттенберхбая, стиравшая их белье и одежду. Очень черная, очень старая и беззубая, Фиэла произносила на прекрасном, переливистом английском длинные речи о прошлом. Родилась она, по ее словам, на Святой Елене и была рабыней. Третьего своего туземца он

встретил тоже в Плеттенберхбае. В тот раз случился сильный шторм, потонуло судно, но наконец ветер, дувший несколько дней и ночей, начал стихать. Он, мать и брат пошли на берег, чтобы посмотреть на выброшенные волнами обломки судового груза, на груды водорослей, и там к ним подошел и заговорил с ними старик с седой бородой, в священническом воротнике и с зонтиком. «Человек строит из железа большие суда, – сказал старик, – но море сильнее. Море сильнее всего, что способен построить человек».

Когда они снова остались одни, мать сказала: «Запомните его слова. Это очень мудрый старик». То был единственный раз, когда он услышал от нее слово «мудрый»; собственно, он вообще не помнит, когда кто-нибудь прибегал к этому слову вне книжных страниц. Однако впечатление произвело на него не только старомодное слово. Туземцев можно уважать – вот что сказала мать. И он испытал сильное облегчение, услышав, как она подтверждает его собственные мысли.

В рассказах и сказках, которые оставляют в его душе наиболее глубокий след, всегда присутствует третий брат, самый смирный, сносящий больше всего издевок юноша, помогающий старушке, мимо которой презрительно проходят первый и второй братья, донести ее тяжелый груз до дома или выдергивающий острый шип из лапы льва. Третий брат добр, честен и храбр, а первый и второй – хвастливы, чванливы и немилосердны. Под конец сказки третий брат становится коронованным принцем, а первому и второму, успевшим покрыть себя позором, предлагают сложить вещички и уматывать.

Так вот, существуют белые, цветные и туземцы, и последние считаются низшими и сносят больше всего издевок. Параллель неизбежна: туземцы – это и есть третий брат.

В школе он и все прочие снова и снова, год за годом заучивают истории о Яне Ван Рибекке, Симоне Ван дер Стеле¹², лорде Чарльзе Сомерсете¹³ и Пите Ретифе¹⁴. За Питом Ретифом непосредственно следуют Кафрские войны – это когда полчища кафров вторгались в Колонию, переходя ее границы, и их приходилось изгонять; однако Кафрских войн так много и все в них так запутанно, что отличить одну от другой почти невозможно, и на экзаменах про них не спрашивают.

На экзаменах по истории он на все вопросы отвечает правильно и все-таки объяснить с чистым сердцем, чем так уж хороши Ян Ван Рибек и Симон Ван дер Стел и так плох лорд Чарльз Сомерсет, не может. Да и к вождям «Великого трека»¹⁵ он относится совсем не с таким одобрением, какого от него ожидают, – кроме разве что Пита Ретифа, убитого после того, как зулусы обманом заманили его, безоружного, в крааль. Андريس Преториус¹⁶, Геррит Мариц¹⁷ и прочее – все это звучит для него, как имена учителей старших классов или выступающих по радио африкандеров: яростных, непреклонных, падких до угроз и разговоров о Боге.

Про Бурскую войну в школе ничего не рассказывают, по крайней мере в английских классах. Поговаривают, будто африкандерам Бурскую войну преподают, называя ее при этом «*Tweede Vryheidsoorlog*» – «Вторая освободительная война», однако и у них на экзаменах о ней не спрашивают. Тема это деликатная, Бурская война, и потому школьная программа обходит ее стороной. Даже его родители о Бурской войне, о том, кто там был прав, кто виноват, предпочитают помалкивать. Впрочем, мать часто повторяет о ней одну историю, которую слышала от

¹² *Симон Ван дер Стел* (1639–1712) – первый голландский губернатор Капской колонии, основатель города Стелленбос, который он назвал своим именем.

¹³ Генерал лорд Чарльз Сомерсет (1767–1831) – губернатор Капской колонии в 1814–1826 гг.

¹⁴ *Пит Ретиф* (1780–1838) – вождь южноафриканских буров.

¹⁵ Начавшееся в 1835 г. переселение потомков голландских колонистов (буров) в центральные районы Южной Африки, приведшее в конечном счете к возникновению Южно-Африканской Республики и Оранжевого Свободного Государства.

¹⁶ *Андريس Вильгельмус Якобус Преториус* (1798–1853) – лидер буров, создавших Республику Наталь, а позже Республику Трансвааль.

¹⁷ *Геррит (Геррит) Мариц* (1798–1838) – один из вождей «Великого трека».

своей матери. Когда буры пришли на ферму, рассказывала ее мать, то потребовали еды, денег и вообще ожидали, что мы будем им прислуживать. Британские же солдаты, придя, расположились на ночлег в конюшне, ничего не украли, а когда уходили, воспитанно поблагодарили хозяев за приют.

Британцы с их кичливыми, высокомерными генералами были в Бурской войне злодеями. Да еще и дураками, потому что носили красные мундиры, которые делали их прекрасными мишенями для метких бурских стрелков. Рассказы об этой войне предполагают, что слушатель примет сторону буров, сражавшихся за свободу с мощной Британской империей. Однако ему буры не нравятся, и не только их длинными бородами и уродливой одеждой, но и тем, что они укрывались в скалах и стреляли из засады, а вот британцы, маршировавшие под пенье волюнок навстречу смерти, как раз и нравятся.

В Вустере англичане составляют меньшинство, а в Реюнион-Парке – меньшинство крошечное. Помимо его и брата, англичан лишь отчасти, английских мальчиков в поселке всего два: Роб Харт и маленький, жилистый Боб Смит – отец его работает на железной дороге, а сам он страдает какой-то болезнью, из-за которой его кожа отслаивается хлопьями (мать запрещает ему прикасаться к детям Смита).

Когда он пробалтывается дома, что мисс Остхейзен сечет Робера Харта, его родители сразу, похоже, понимают, в чем тут причина. Мисс Остхейзен принадлежит к клану Остхейзенов, а они националисты; отец же Робера Харта, владеющий скобяной лавкой, был до выборов 1948-го членом городского совета от «Объединенной партии».

Обсуждая мисс Остхейзен, родители покачивают головами. Они считают ее вздорной, неуравновешенной и с неодобрением относятся к тому, что она красит волосы хной. При Смэтсе, говорит отец, учителю, который приносит в школу свои политические взгляды, не поздоровилось бы. Отец тоже состоит в «Объединенной партии». Собственно, он и работу в Кейптауне, работу, название которой – «арендный контролер» – мать произносила с такой гордостью, потерял, когда Малан победил Смэтса на выборах 1948 года. Именно из-за Малана им пришлось покинуть дом в Роузбэнке, по которому он так скучает, – стоявший посреди запущенного парка дом с собственной обсерваторией под купольной крышей и двумя погребками; а ему – бросить роузбэнкскую среднюю школу, друзей и перебраться сюда, в Вустер. В Кейптауне отец уходил по утрам на работу в щегольском двубортном костюме и с кейсом в руке. Когда другие дети спрашивали, кто его отец, он отвечал: «Арендный контролер», и они уважительно замолкали. А в Вустере работа отца и названия-то не имеет. «Отец служит в „Стэндэрд кэннерс“», – приходится говорить ему. «А что он там делает?» – «Работает в офисе, ведет учетные книги», – признается он, запинаясь. Он и малейшего понятия не имеет о том, что это значит – «вести учетные книги».

Компания «Стэндэрд кэннерс» производит больше консервированных персиков из Альберты, консервированных бартлеттовских груш и консервированных абрикосов, чем любой другой консервный завод страны: этим ее претензии на славу и исчерпываются.

Несмотря на поражение 1948-го и смерть генерала Смэтса, отец сохранил верность «Объединенной партии» – сумрачную верность. Адвокат Штраус, новый лидер «Объединенной», – это всего лишь бледная тень Смэтса; на победу под руководством Штрауса во время следующих выборов ОП и надеяться нечего. Более того, националисты уже обеспечили себе эту победу, изменив границы избирательных округов к выгоде их сторонников из *platteland*, сельской местности.

– Но почему им никто не помешал? – спрашивает он у отца.

– Кто? – отвечает отец. – Кто может им помешать? Они же теперь у власти, вот и творят что хотят.

Он не видит смысла в выборах, если победившая партия может менять их правила. Это все равно что бэтсмен, решающий, кто будет боулером, а кто не будет.

Когда передают новости, отец включает радио – но лишь для того, чтобы узнать результаты последних матчей: летом крикетных, зимой регбийных.

В прежнее время, до того, как к власти пришли националисты, выпуски новостей передавались из Англии. Сначала звучал гимн «Боже, храни короля», затем шесть коротких сигналов Гринвича, а затем диктор произносил: «Говорит Лондон, передаем программу новостей» – и начинал зачитывать новости, поступающие со всех концов света. Теперь ничего подобного нет. «Говорит Радиовещательная корпорация Южной Африки», – сообщает диктор и приступает к длинному пересказу того, что наговорил в парламенте доктор Малан.

Что ему не нравится в Вустере больше всего, что вызывает у него самое сильное желание бежать отсюда, так это ярость и негодование, которыми словно пропитаны юные африкандеры. Он и боится, и ненавидит этих массивных мальчиков в тесных коротких шортах, особенно тех, что постарше, способных, дай им хоть половину шанса, утащить тебя куда-нибудь в вельд и сотворить с тобой нечто, обещаемое их зловещими ухмылками, – к примеру, *borsel*¹⁸ тебя, то есть, насколько ему удалось выяснить, стянуть с тебя штаны и вымазать твои яйца нанесенной на щетку сапожной ваксой (почему именно яйца? и почему сапожной ваксой?), а после отправить домой, чтобы ты бежал по улицам полуголый и ревущий.

Похоже, кроме того, существует некое потаенное знание, доступное лишь мальчикам-африкандерам, его распространяют, посещая школу, студенты-педагоги, и относится оно к церемонии посвящения, к тому, что с тобой во время нее происходит. Африкандеры перешептываются об этом так же взволнованно, как о тростях и порках. То, что ему удастся подслушать, вызывает у него отвращение: необходимость разгуливать в одном детском подгузнике, например, или пить мочу. Если для того, чтобы стать учителем, необходимо пройти через такое, в учителя он лучше не пойдет.

Поговаривают, что правительство намеревается издать указ о переводе всех школьников с африкандерскими фамилиями в африкаанские классы. Родители обсуждают эту новость вполголоса, они явно встревожены. Что касается его, то при одной только мысли об учебе в одном классе с африкандерами им овладевает паника. Он заявляет родителям, что не подчинится этому указу. Просто перестанет ходить в школу, и все. Они стараются успокоить его. «Ничего не будет, – говорят они. – Это одни разговоры. Пока они там что-нибудь сделают, многие годы пройдут». Он в этом совсем не уверен.

Удалять лжеанглийских мальчиков из английских классов предстоит, узнает он, школьным инспекторам. И теперь он живет в страхе перед днем, когда школьный инспектор войдет в класс, проведет пальцем по журналу, произнесет его имя и велит ему собрать учебники. Впрочем, на такой случай у него имеется тщательно разработанный план. Он соберет, конечно, учебники и, нисколько не протестуя, покинет класс. Но к африкандерам не пойдет. Вместо этого он спокойно, не привлекая к себе внимания, дойдет до сарая, в котором стоят велосипеды, выведет оттуда свой и понесется к дому – так быстро, что перехватить его никто не успеет. А дома закроет и запрет входную дверь и скажет матери, что в школу больше не пойдет и, если она выдаст его, покончит с собой.

Портрет доктора Малана накрепко запечатлелся в его памяти. В круглом лице лысого Малана нет ни сострадания, ни милосердия. И горло у него пульсирует, как у лягушки. А губы поджаты.

Он не забыл о первом, что проделал доктор Малан в 1948-м: запретил все комиксы о Капитане Марвеле и Супермене, разрешив таможене пропускать только те, что про зверушек, – комиксы, назначение которых состоит в том, чтобы подольше удерживать ребенка в пределах детства.

¹⁸ Начистить (афр.).

Он думает о песнях африкандеров, которые приходится петь всем школьникам. Он уже успел возненавидеть эти песни до того, что, когда их запевают, его так и подмывает визжать, вопить и пердеть губами, – в особенности это относится к «*Kom ons gaan blomme pluk*» с ее детишками, резвящимися в полях среди щебечущих птичек и радостных насекомых.

В одно субботнее утро он и двое его друзей уезжают из Вустера на велосипедах по дороге на Де-Дурнс. И уже через полчаса оказываются в местах необитаемых. Они бросают велосипеды у дороги и поднимаются в горы. Находят пещеру, разводят костер и сидят у него, уплетая взятые с собой сэндвичи. Вдруг откуда ни возьмись появляется здоровенный, воинственно настроенный подросток-африкандер в шортах цвета хаки. «*Wie het lie toestemming gegee?*» – Кто вам позволил?

Они немеют. Пещера же: разве для того, чтобы войти в пещеру, нужно просить чьего-то дозволения? Они пытаются соврать что-нибудь, но без толку. «*Jull sal hier moet bly totdat my pa kom*», – объявляет мальчик: Сидите здесь, пока не придет мой отец. А следом говорит что-то насчет *lat, strop*: палки, ремня – отец покажет им, где раки зимуют.

Голова его пустеет от страха. Здесь, посреди вельда, позвать на помощь им некого, и, значит, их избыют. И оправдаться им нечем. Потому что на самом-то деле они виноваты, а больше всех – он. Это же он уверял двух других, когда они перелезали через изгородь, что никакой фермы тут быть не может – вельд, и только. Он – зачинщик, идея с самого начала принадлежала ему, и свалить вину не на кого.

Появляется фермер с собакой – коварного вида немецкой овчаркой. Им снова задают вопросы, на этот раз по-английски, – вопросы, на которые нет ответов. По какому праву они сюда вторглись? Почему не испросили разрешения? И им снова приходится повторять жалкие, глупые оправдания: они не знали, они думали – тут просто вельд. Он дает себе клятву никогда больше не повторять такой ошибки. Никогда больше не быть дураком, который лезет через забор и думает, что ему ничего за это не будет. «Идиот, – говорит он себе. – Идиот, идиот, идиот!»

У фермера нет с собой ни *lat*, ни ремня, ни плетки. «Вам нынче везет, – говорит он; мальчики стоят, точно вросшие в землю, ничего не понимая. – Ступайте».

Мальчики глупо ковыляют по крутому склону туда, где у дороги их ждут велосипеды, – бежать они боятся, а вдруг собака погонится за ними, гавкая и роняя слюну. Оправдаться перед собой им нечем. Африкандеры даже и вели-то себя по-доброму. Это только их поражение.

Глава десятая

Ранными утрами дети цветных семят вдоль Государственной автострады с пеналами и учебниками в руках – у некоторых даже ранцы имеются – по направлению к школе. Но это дети маленькие, совсем маленькие, к его годам, к десяти-одиннадцати, они уже покинут школу, выйдут в широкий мир и начнут зарабатывать на хлеб.

Родители решают не праздновать его день рождения дома, а выдают ему десять шиллингов, чтобы он угостил друзей. И он приглашает троих из них, самых близких, в кафе «Глобус»; там все усаживаются за мраморный столик и заказывают лакомства – кто банановый сплит, кто шоколадный пломбир со сливочной помадкой. Он величественно платит за удовольствие, которое доставляет друзьям; замечательный получился бы праздник, не порти его одно – оборванные дети-цветные, стоящие, глядя на них, за витриной кафе.

На лицах этих детей нет ненависти – заслуженной, готов признать он, им и его друзьями: вон сколько у них денег, а у цветных нет ни гроша. Напротив, они, точно дети в цирке, упиваются зрелищем, полностью им поглощены и ничего в нем не пропускают.

Будь он другим человеком, он попросил бы владеющего «Глобусом» португальца с набриллиантенными волосами прогнать их. Нищих детей принято гонять, это нормально. Нужно всего лишь скорчить сердитую рожу, замахать руками и закричать: «*Voetsek, hotnot! wor! wor!*» – а затем повернуться к тому, кто за тобой наблюдает, знакомому или человеку чужому, и пояснить: «*Hulle soek net iets om te steel. Hulle is almal skelms*» – Только и высматривают, что бы украсть. Все они воры. Но, подойдя к португальцу, что он сможет сказать? «Они портят мне день рождения, это нечестно, у меня сердце щемит, когда я гляжу на них»? Что бы ни произошло следом, прогнали бы их или нет, все было бы поздно – сердце-то уже защемило.

Африкандеры представляются ему людьми, у которых сердце щемит постоянно, и потому они всегда пребывают в гневе. Англичане – людьми, которые в гнев не впадают, потому что живут за высокими стенами и сердца свои умело оберегают.

Такова лишь одна из его теорий относительно англичан и африкандеров. К сожалению, в ее благовонной масти имеется муха – Тревельян.

Тревельян был одним из жильцов дома на Лисбик-роуд в Роузбэнке, дома, перед входом в который рос посреди палисадника огромный дуб, дома, в котором он был счастлив. Тревельян занимал самую лучшую комнату – с выходящими на веранду французскими окнами. Он был молод, высок, дружелюбен, из африкаанса не знал ни слова, в общем – англичанин до мозга костей. По утрам Тревельян, перед тем как отправиться на службу, завтракал на кухне; по вечерам возвращался и ужинал вместе с ними. Свою комнату, в которую и так-то входить запрещалось, он запирает на замок; впрочем, ничего интересного в ней, если не считать американской электробритвы, не было.

Его отец, хоть он и был старше Тревельяна, подружился с англичанином. По субботам они вместе слушали радио – оплачиваемые юридической фирмой «Си-Кей Фрислендер» трансляции матчей по регби со стадиона «Ньюлендс».

А потом появился Эдди, семилетний цветной из Айдэс-Вэлли, что под Стелленбосом. Появился, чтобы работать у них: жившая в Стелленбосе тетя Уинни договорилась об этом с его матерью. Эдди предстояло мыть посуду, мести полы и вытирать пыль, жить он должен был с ними, в Роузбэнке, они бы его и кормили, а первого числа каждого месяца посылали бы матери Эдди по почте два фунта десять шиллингов.

Эдди прожил и проработал в Роузбэнке два месяца, а после сбежал. Исчез он ночью, хватились его только утром. Позвонили в полицию, и вскоре Эдди нашли – он прятался в зарослях на берегу реки Лисбик, неподалеку от их дома. Нашел Эдди Тревельян, а не полиция,

он же и притащил его домой, ревавшего и неприлично лягавшегося, притащил и запер в старой обсерватории, которая стояла в парке за домом.

Ясно было, что Эдди придется отправить обратно в Айдэс-Вэлли. Теперь, перестав притворяться, что он всем доволен, Эдди будет удирать при любой возможности. Идея его ученичества оказалась бесплодной.

Однако, прежде чем звонить тете Уинни в Стелленбос, следовало наказать Эдди за все причиненные им неприятности – за то, что им пришлось звонить в полицию, за испорченное субботнее утро. И наказывать его вызвался Тревельян.

Он заглянул в обсерваторию, когда Эдди наказывали. Тревельян одной рукой сжимал запястья мальчика, а другой хлыстал кожаным ремнем по голым ногам. Был там и отец – стоял в сторонке, наблюдая. Эдди подвывал и приплясывал, лицо у него было все в слезах и соплях. «*Asseblief, asseblief, my baas*, – вопил он, – *‘ek sal nie weer nie!*» – Я больше не буду! Тут мужчины заметили его и замахали руками, чтобы он ушел.

На следующий день из Стелленбоса приехали на своем «ДКВ» его дядя и тетя и увезли Эдди к матери, в Айдэс-Вэлли. Прощаться с ним никто не стал.

Так что именно Тревельян, англичанин, избивал Эдди. И на самом-то деле Тревельян с его красноватым лицом и уже обозначившимся брюшком побагровел, маша ремнем, и при каждом ударе всхрапывал все сильнее, распаляясь совершенно так же, как самый обычный африкандер. Но в таком случае как вписывается Тревельян в его теорию насчет того, что все англичане хорошие?

Он и до сих пор в долгу перед Эдди, о чем никому не рассказывал. После того как он купил, потратив деньги, полученные им на восьмой день рождения, велосипед «смитс» и обнаружил, что ездить на нем не умеет, именно Эдди толкал его вместе с велосипедом по Роузбэнк-Коммон, выкрикивая указания, пока он вдруг, совершенно неожиданно, не научился удерживать равновесие.

В тот первый раз он описал широкую петлю, изо всех сил давя, чтобы одолеть песчанистую почву, на педали, и вернулся туда, где стоял Эдди. Эдди был взволнован, подпрыгивал на месте. «*Kan ek 'n kans kry?*» – крикнул мальчик: Можно теперь я? Он отдал велосипед Эдди. Тот в подталкиваниях не нуждался: понесся, стоя на педалях, со скоростью ветра, так что его темно-синий старый блейзер сдуло назад, – ездил Эдди гораздо лучше, чем он.

Он помнит, как они боролись на лужайке. Эдди был всего на семь месяцев старше его и нисколько не крупнее, но обладал неутомимостью, силой и целеустремленностью, которые неизменно делали его победителем. Впрочем, победителем осторожным. Только на миг, прижав беспомощного противника спиной к земле, Эдди позволял себе улыбку торжества, а затем перекатывался и вставал, пригнувшись, готовый к следующей схватке.

Во время схваток он привыкал к запаху тела Эдди, к ощущениям, доставляемым его головой – высоким, похожим формой на пулю черепом, – короткими, жесткими волосами.

Головы у них крепче, чем у белых, говорит отец. Потому из них и получаются хорошие боксеры. И по той же причине, добавляет он, в регби они никогда хорошо играть не будут. В регби думать надо, тупицы там ни к чему.

По ходу схватки его губы и нос раз или два прижимаются к волосам Эдди. Он вдыхает из запах, вкус: запах и вкус дыма.

Каждый уик-энд Эдди должен был принимать душ – стоял в кабинке, которая в уборной для слуг, и тер себя намыленной тряпкой. Он и брат приволокли под крошечное окошко уборной мусорный бачок, залезли на него, чтобы заглянуть внутрь. Эдди был голым, если не считать кожаного ремешка, оставленного им на талии. Увидев в оконце две физиономии, он широко улыбнулся, крикнул: «*He!*» – и начал приплясывать, плеща водой и не прикрываясь.

Позже он сказал матери:

– Эдди и под душем ремешок не снимает.

– Пусть поступает как хочет, – ответила она.

В Айдэс-Вэлли, откуда Эдди родом, он ни разу не бывал. И думает, что это место холодное, сырое. Электричества в доме матери Эдди нет. Крыша протекает, все вечно кашляют. Тому, кто вступает в дом, приходится перепрыгивать с камня на камень, иначе он окажется в луже. На что теперь осталось надеяться Эдди, вернувшемуся опозоренным в Айдэс-Вэлли?

– Как по-твоему, что сейчас делает Эдди? – спрашивает он у матери.

– Наверняка в исправительном заведении сидит.

– Почему в исправительном?

– Такие, как он, всегда кончают исправительным заведением, а после тюрьмой.

Он не понимает, почему мать так ожесточена против Эдди. Как не понимает и ее приступов желчности, во время которых она поносит в случайном порядке все, что приходит ей в голову: цветных, своих братьев и сестер, книги, образование, правительство. Ему, вообще-то говоря, и не важно, что она думает об Эдди, – лишь бы думала что-то одно, а не меняла мнение каждый день. Когда она принимается вот так костерить все и вся, ему кажется, что пол рассыпается под его ногами, что он падает куда-то.

Он думает об Эдди, сжимающемся в своем старом блейзере, чтобы хоть немного защититься от дождя, который всегда идет в Айдэс-Вэлли, курящем с цветными постарше подобранные на улице окурки. Ему десять лет, и Эдди, там, в Айдэс-Вэлли, тоже десять. Потом какое-то время Эдди будет одиннадцать, а ему все еще десять; потом одиннадцать исполнится и ему. Так он и будет вечно подниматься ступенькой выше и, постояв на ней с Эдди, снова оставаться позади. Сколько времени это будет продолжаться? Удастся ли ему вообще избавиться от Эдди? Если они столкнутся когда-нибудь на улице, узнает ли его Эдди, несмотря на все пьянство и курение конопли, все тюрьмы и тяготы жизни, узнает ли и крикнет ли *«Jou moer!»*?¹⁹

Он знает – в этот миг, в Айдэс-Вэлли, в протекающем доме, свернувшись под вонючим одеялом, Эдди, так и не снявший старого блейзера, думает о нем, – и знает, что именно. В темных глазах Эдди светятся две желтые полосы. В одном он совершенно уверен: Эдди его не пожалеет.

¹⁹ «Эй, ты, подонок!» (афр.)

Глава одиннадцатая

Вне круга родичей знакомств у них почти нет. Когда в их дом приходят посторонние люди, он и брат удирают, точно дикие зверьки, а после тайком возвращаются и, прячась за дверьми, подглядывают и подслушивают. А еще они просверлили в потолке несколько глазков и потому могут, забравшись на чердак, наблюдать за происходящим в гостиной сверху. Мать долетающие с чердака звуки их возни смущают. «Это там дети играют», – с натянутой улыбкой объясняет она.

От вежливых разговоров с гостями он уклоняется, поскольку их формулы – «Ну, как дела? Школа тебе нравится?» – ставят его в тупик. Не зная правильных ответов, он мямлит и запинается, как слабоумный. Однако в конечном счете своей дикости, своего нетерпимого отношения к банальности благовоспитанной болтовни он не стыдится.

– Почему ты не можешь вести себя как нормальный человек? – спрашивает мать.

– Ненавижу нормальных людей, – запальчиво отвечает он.

– Ненавижу нормальных людей, – эхом вторит ему брат.

Брату семь лет. С лица его не сходит напряженная, нервная улыбка; в школе брата иногда рвет без всякой на то причины, и его приходится отводить домой.

Знакомых им заменяет родня. Родные матери – единственные на свете люди, которые более-менее принимают его таким, каков он есть. Принимают – грубого, не умеющего вести себя в обществе, эксцентричного – не только потому, что без этого семья его гостить у них не могла бы, но потому, что и сами росли в дикости и грубости. А вот родные отца с неодобрением относятся и к нему, и к воспитанию, которое он получает от матери. Рядом с ними он чувствует себя скованно, а едва избавившись от их общества, принимается высмеивать пошлую учтивость их разговора: «*En hoe gaan dit met jou mammie? En met jou broer? Dis goed, dis goed!*» – Как твоя мама? А брат? Хорошо! И все же обойтись без них невозможно: отказываясь участвовать в их ритуалах, он не смог бы гостить на ферме. И потому он, поживаясь от смущения, презируя себя за малодушие, подыгрывает им. «*Dit gaan goed*, – отвечает он. – *Dit gaan goed met ons almal*». – У всех все хорошо.

Он знает, во всем, что касается *его*, отец стоит на их стороне. Это один из способов отца поквитаться с матерью. И от мысли о том, какую жизнь ему пришлось бы вести, если бы в семье верховодил отец, – жизнь, состоящую из тупоумных, идиотских формул, – его пробирает дрожь. Мать – единственный человек, стоящий между ним и существованием, перенести которое он не смог бы. И как ни раздражает его несообразительность и бестолковость матери, он цепляется за нее, как за свою единственную защитницу. Он – ее сын, не отца. Отца он отвергает и ненавидит. Он не забыл тот двухлетней давности день, когда мать один-единственный раз позволила отцу наброситься на него, точно пса с цепи спустила («Я уже до ручки дошел, больше я этого не потерплю!»), не забыл, как сверкали синие, гневные глаза отца, когда тот тряс его и шлепал по щекам.

Бывать на ферме ему необходимо, потому что нет на земле места, которое он любил бы сильнее – такое даже вообразить невозможно. И насколько запутанна его любовь к матери, настолько проста любовь к ферме. И все же с самых первых памятных ему лет к этой любви примешивалась боль. Он может приезжать на ферму, но жить здесь никогда не будет. Ферма – не его дом, он навсегда останется на ней гостем, смущающимся гостем. Даже сейчас он и ферма расходятся, день за днем, по разным путям, разделяясь, взрослея и не становясь ближе – скорее дальше. И наступит день, когда ферма уйдет совсем, утратится полностью – он и сейчас уже оплакивает эту утрату.

Ферма принадлежала его дедушке, а когда дедушка умер, перешла в руки дяди Сона, старшего брата отца. Сон был единственным в семье человеком со склонностью к фермерству,

остальные братья и сестры слишком уж горели желанием разбежаться по городам. И тем не менее их никогда не покидало чувство, что ферма, на которой они выросли, так и принадлежит всем им. Поэтому самое малое раз в год, а иногда и дважды отец едет на ферму и его с собой берет. Ферма называется Фозльфонтейн – «Птичий источник»; он любит каждый ее камень, каждый куст, каждую травинку; любит птиц, от которых она получила название, птиц, тысячами слетающихся, когда наступают сумерки, на стоящие вокруг источника деревья, перекликаясь, ворча, ероша перья, устраиваясь на ночлег. Немыслимо, чтобы кто-то еще любил ферму так, как любит он. Однако рассказать о своей любви он не может, и не только потому, что нормальные люди о таком помалкивают, но и потому, что, признавшись в ней, он предал бы мать. Предал бы, во-первых, потому, что и она тоже родилась на ферме, сопернице этой, стоящей совсем в другой, далекой отсюда части мира: на ферме, о которой мать говорит с любовью и тоской, но вернуться на которую никогда уже не сможет, поскольку ферму эту продали чужим людям; а во-вторых, потому, что на *этой* ферме, настоящей, в Фозльфонтейне, ее принимают без большого радушия.

Почему так получилось, мать ему не объясняет – за что он ей в конечном счете благодарен, – однако постепенно у него складывается из услышанных им разрозненных фраз связанная история. Во время войны мать долгое время жила с двумя детьми всего в одной комнате, снимавшейся ею в городке Принс-Альберт, и жила на шесть фунтов, которые отец переводил ей из своего жалования младшего капрала, плюс еще на два, которые она получала от генерал-губернаторского «Фонда помощи нуждающимся». И за все это время мать ни разу не пригласили на ферму, хотя туда и было-то всего два часа пути по хорошей дороге. Эту часть истории он знает просто потому, что даже отец, вернувшись с войны и узнав, как дурно с ними обошлись, прогневался и устыдился.

Из жизни в Принс-Альберте он помнит только комариное нытье долгими жаркими ночами да мать, ходящую взад-вперед в одной нижней юбке, – на коже ее выступает пот, тяжелые, мясистые ноги перекрещены варикозными венами, она старается уговорить его брата, вечно ревущего младенца; ну и помнит еще дни жуткой скуки, проводимые за закрытыми, чтобы отгородиться от солнца, ставнями. Вот так они тогда жили, застрявшие в маленьком городке, слишком бедные, чтобы переехать куда-то, ожидавшие приглашения, которое так и не пришло.

Мать и сейчас поджимает губы при любом упоминании о ферме. Тем не менее, когда под Рождество они отправляются туда, мать отправляется с ними. Там собирается вся большая семья. В каждой из комнат и даже на длинной веранде теснятся кровати, матрасы, носилки: в одно Рождество он насчитал двадцать шесть таких лежанок. Весь день его тетя и две служанки проводят в наполненной паром кухне, стряпая блюдо за блюдом, то и дело заваривая чай или кофе и выпекая к ним плюшки, а мужчины тем временем сидят на веранде, лениво озирая мерцающую Кару и обмениваясь историями о прежних днях.

Он жадно впитывает эту атмосферу, впитывает приятную, неряшливую смесь английского и африкаанса, которая образует, когда они сходятся вместе, их общий язык. Ему нравится этот язык, веселый, пританцовывающий. Он легче, воздушнее африкаанса, который преподают в школе, – тот провисает под грузом идиом, вышедших, предположительно, из *volksmond*, из уст народа, хотя сильно похоже на то, что единственным их источником был «Великий трек», ибо идиомы эти неуклюжи, глупы и вертятся, все до одной, вокруг фургонов, скота и привязей для него.

В первый его приезд на ферму дедушка был еще жив и на скотном дворе теснились все животные, каких он только встречал в книгах сказок: лошади, ослы, коровы с телятами, свиньи, утки, целая колония кур во главе с кукарекавшим, приветствуя солнце, петухом, козы – и бородатые козлы. После смерти дедушки население скотного двора стало сокращаться, и в конце концов остались только овцы. Сначала продали лошадей, затем пустили на мясо сви-

ней (последнюю дядя застрелил у него на глазах: пуля вошла за ухом, свинья хрюкнула, очень громко пукнула и упала, вся дрожа, – сначала на колени, потом на бок). За ними исчезли коровы, а за коровами утки.

Причину составляла цена на шерсть. Японцы платили по фунту стерлингов за фунт шерсти, а приобрести трактор проще, чем держать лошадей, и проще – доехать на новом «студебеккере» до станции Фрейзербург-Роуд и купить там замороженное масло и порошковое молоко, чем доить корову и сбивать сливки. Значение имели только овцы с их золотым руном.

Да и бремя земледелия они тоже помогли свалить с плеч долой. Единственным, что еще выращивалось на ферме, – на случай, если пастбища оскудеют и овец придется подкармливать, – была люцерна; от садов осталась ныне только апельсиновая роща, приносящая каждый год сладчайшие плоды.

Когда его тетушки и дядюшки собирались, вздремнув после обеда, на веранде, чтобы попить чаю и поболтать, разговоры их часто обращались к прежним дням фермы. Они вспоминали своего отца, «джентльмена-фермера», державшего коляску и пару выездных лошадей, растрившего пшеницу на земле, которая лежала под «прудом», им же самим и выдолбленном в твердом грунте. «Да, были времена», – говорят они и вздыхают.

Им нравится испытывать ностальгию по прошлому, однако вернуться в него никто из них не желает. А он желает. Желает, чтобы все было как раньше.

В углу веранды, в тени бугенвиллеи, подвешен брезентовый бурдюк с водой. Чем жарче день, тем холоднее вода, – чудо, подобное тем, что совершаются с мясом, которое висит в темноте кладовой и не портится, или с тыквами, лежащими на крыше под жгучим солнцем и сохраняющими свежесть. Похоже, разложения на ферме просто не существует.

Вода в бурдюке волшебной холодна, однако он каждый раз наливает себе не больше одного глотка. Он гордится тем, как мало пьет. И надеется, что это сослужит ему хорошую службу, если он когда-нибудь заблудится в вельде. Ему хочется быть жителем пустыни, вот этой пустыни, – таким же, как ящерица.

Прямо над главным домом фермы расположен тот самый обнесенный стеной пруд, двенадцать квадратных метров. Пруд наполняется насосом с ветряным двигателем и снабжает водой дом и сад. В один жаркий день он и брат спускают в пруд ванну из оцинкованного железа, не без труда забираются в нее и, гребя руками, несколько раз переплывают пруд вперед и назад.

Воды он боится и рассчитывает, что это приключение поможет ему преодолеть страх перед ней. Примерно в середине пруда их посудина начинает раскачиваться. Испещренная пятнами вода мечет в них стрелы света, вокруг ни звука, только трели цикад. Его отделяет от смерти лишь тонкий слой металла. И тем не менее он ощущает себя надежно защищенным – настолько надежно, что его клонит в сон. Такова ферма: здесь никакой беды произойти не может.

До этого он плавал в лодке всего один раз, ему было в то время четыре года. Мужчина (кто? – он пытается вспомнить, но не может) катал их на гребном ялике по лагуне – в Плеттенберхбае. Прогулка была задумана как увеселительная, однако все время, проведенное ими в ялике, он просидел, замерев и не сводя глаз с далекого берега. Вернее, один раз свел, чтобы взглянуть за борт, и увидел под собой, глубоко, покрытые рябью пряди водорослей. Именно то, чего он боялся, только хуже. У него закружилась голова. Одни только хрупкие доски, постанывавшие при каждом гребке так, точно они собирались треснуть, и не позволяли ему окунуться в смерть. Он крепче вцепился в борт и закрыл глаза, борясь с бушевавшей в нем паникой.

В Фозельфонтейне живут две семьи цветных, каждая в собственном доме. А у самой стены пруда стоит дом, теперь уже лишившийся крыши, но принадлежавший когда-то Ауе Япу. Ауа Яап жил на ферме еще до того, как на ней появился дедушка; сам он помнит Ауа Яапа лишь как очень старого человека с млечно-белой бородой, незрячими глазами, беззубыми деснами и узловатыми руками, сидящего на скамейке под солнцем, – возможно, его приводили к

старика, чтобы тот дал ему благословение, однако в этом он не уверен. Теперь Ауа Яап мертв, но имя его упоминают почтительным тоном. И тем не менее, спрашивая, что такого особенного было в Ауа Яапе, ответы он получает самые простые. Ауа Яап родился в те времена, когда не существовало изгородей, защищающих овец от шакалов, говорят ему, когда пастуху, который отгонял своих овец на дальнее пастбище, приходилось неделями жить с ними и их охранять. Ауа Яап принадлежал к исчезнувшему теперь поколению. Вот и все.

Тем не менее он улавливает то, что кроется за этими словами. Ауа Яап был частью фермы; дедушка мог купить ее, стать законным владельцем, но Ауа Яап все равно оставался дополнением к ней, знавшим и о самой ферме, и об овцах, вельде, погоде больше, чем мог знать новый в этих краях человек. Вот почему Ауа Яапа следовало во что бы то ни стало удерживать на ферме, и по этой же причине никто даже не заговаривает о том, что хорошо бы избавиться от сына Ауа Яапа, Роса, человека уже пожилого, но работника не из лучших, ненадежного и неумелого.

Все понимают, что Рос будет жить и умрет на ферме, а после его место займет один из сыновей Роса. Фрик, второй работник фермы, моложе и энергичнее, он и соображает быстрее, и положиться на него можно во всем. И однако же, Фрик не свой, не здешний, и все опять-таки понимают, что оставлять его здесь навсегда необязательно.

Приезжая на ферму из Вустера, где цветные владеют, похоже, лишь тем, что им удастся выпросить (*Asseblief my Moi! Asseblief my basie!*), он, увидев, насколько корректны и формальны отношения между его дядей и *volk*, всякий раз испытывает облегчение. Каждое утро дядя обсуждает с двумя своими работниками то, что нужно сделать за день. Он не отдает им приказов. Просто перечисляет необходимые дела, одно за другим, словно выкладывает на стол свои карты; затем его работники выкладывают свои. Это перемежается паузами, долгим, задумчивым молчанием, во время которого ничего не происходит. А затем вдруг оказывается, что все загадочным образом решилось: кто куда отправится, кто что сделает. «*Nouja, dan salons maar loop, baas Sonnie!*» – Ну, мы пошли, хозяин Сонни! После чего Рос и Фрик берут свои шляпы и торопливо уходят.

То же самое и на кухне. Там работают две женщины: Трин, жена Роса, и Лиентьи, его дочь от другого брака. Они появляются перед завтраком и покидают кухню после обеда, который приходится здесь на середину дня. Лиентьи настолько робка с чужими людьми, что, если те с ней заговаривают, только хихикает и лицо прячет в ладони. Однако, когда он подходит к двери кухни, до него доносится непрерывно ведомый двумя женщинами разговор, который ему нравится подслушивать: негромкий утешительный обмен женскими слухами, пересудами, передаваемыми из уст в уста, пока они не накроют собой не только ферму, но и стоящую рядом с Фрейзербург-Роуд деревню, и поселения вблизи от нее, и другие фермы этих мест – мягкая белая паутина слухов, охватывающая прошлое и настоящее, сеть, которая в этот самый миг сплетается и на других кухнях – на кухне Ван Ренсбурга, на кухне Альбертов, на кухне Нигрини, на кухнях Боутсов: кто за кого вышел, чья свекровь ложится на операцию и на какую, чей сын делает успехи в школе, чья дочь попала в беду, кто у кого гостил, кто во что был одет и когда.

Впрочем, Рос и Фрик ему интереснее. Он сгорает от желания выяснить, как они живут. Носят ли, подобно белым, нижние рубашки и подштанники? Есть ли у каждого своя кровать? Спят ли они голыми, или в повседневной одежде, или в пижамах? Едят ли настоящую еду, сидя с ножом и вилкой за столом?

Получить ответы на эти вопросы он не может, так как ему настоятельно посоветовали в дома их не заходить. Такие визиты были бы грубостью, сказали ему, потому что стеснили бы Роса и Фрика.

Если жена и дочь Роса работают в нашем доме, готовят еду, стирают одежду, застилают постели, почему же их должен стеснять наш приход к ним? – хочет спросить он.

Довод вроде бы и неплохой, однако не лишенный изъяна, и он это понимает. Ибо правда состоит в том, что присутствие Трины и Лиентьи в доме и *впрямь* стеснительно. Ему вовсе не нравится, что, когда он сталкивается с Лиентьи в коридоре, она притворяется невидимкой, а он делает вид, что ее здесь нет. И он не знает, как ей отвечать, когда она обращается к нему в третьем лице, как будто его нет рядом, и называет его «*die kleinbaas*» – маленький хозяин. Все это его страшно стесняет.

С Росом и Фриком ему легче. Но даже с ними он вынужден разговаривать, используя вычурно построенные предложения, которые позволяют не обращаться к ним на *ju*²⁰, между тем как они называют его *kleinbaas*. К тому же он не уверен, кем считается Фрик, мужчиной или мальчиком, не окажется ли он в глупом положении, обращаясь с Фриком как с мужчиной. Это касается и цветных вообще, и жителей Кару в частности – он просто не знает, когда они перестают быть детьми и становятся мужчинами и женщинами. Похоже, что происходит это очень рано и очень внезапно: сегодня они возятся с игрушками, а завтра выходят со взрослыми на работу или начинают мыть посуду в чьих-то кухнях.

Фрик – человек мягкий, с негромким голосом. У него есть велосипед с толстыми шинами и гитара; по вечерам он сидит у двери своей комнаты, играет сам для себя на гитаре и улыбается мечтательной отчасти улыбкой. А субботними вечерами уезжает на велосипеде во Фрейзербург-Роуд и остается там до воскресного вечера, возвращаясь долгое время спустя после наступления темноты: они различают за многие мили крошечную колеблющуюся искорку света, фонарик его велосипеда. Покрывать на велосипеде такие огромные расстояния – ему это кажется героизмом. И если бы ему только позволили, он преклонялся бы перед Фриком.

Фрик – работник наемный, ему платят жалованье, он может сказать, что уходит, и его пошлют укладывать вещи. И тем не менее, когда он видит Фрика сидящим с трубкой в зубах на корточках и вглядывающимся в вельд, ему представляется, что Фрик связан с этими местами надежнее и крепче, чем Кутзее – если не с Фозльфонтейном, то с Кару. Кару – земля Фрика, его дом; а Кутзее, сидящие, попивая чай и сплетничая, на веранде, подобны ласточкам, существам сезонным – сегодня здесь, завтра там, – а то и воробьям, чирикающим, легким на подъем, недолговечным.

Самое лучшее, что есть на ферме, лучше всего на свете, – это охота. У дяди только одно ружье – «ли-энфилд» тридцатого калибра, пули его слишком велики для какой угодно дичи (отец однажды подстрелил зайца, так от того остались одни кровавые ошметки). Поэтому, когда он приезжает на ферму, у одного из соседей заимствуется ружье двадцать второго калибра. Оно однозарядное, патрон вставляется прямо в казенник. Иногда это ружье дает осечку, и он возвращается домой с продолжающимся несколько часов звоном в ушах. Попасть ему, как правило, ни во что не удастся, разве что в прудовых лягушек или в садовых мышанок. И тем не менее жизнь никогда не кажется ему такой же полной, как в те ранние утра, когда он и отец отправляются с ружьями по сухому руслу Бушменской реки на поиски дичи: антилоп, зайцев или дроф, которые водятся на голых склонах холмов.

Декабрь за декабрем он и отец приезжают, чтобы поохотиться, на ферму. Они садятся на поезд – не на экспресс «Транс-Кару», и не на «Оранжевый экспресс», и, уж конечно, не на «Синий поезд» – эти все слишком дороги и все пролетают мимо станции Фрейзербург-Роуд, не останавливаясь, – нет, на обычный пассажирский из тех, что подолгу стоят на каждой станции, даже на самой маленькой, а иногда отползают на запасные пути и ждут, когда пронесется мимо экспресс более именитый. Он любит эти медленные поезда, любит уютно и крепко спать под похрустывающей белой простыней и темно-синим одеялом, которые приносит проводник, любит просыпаться среди ночи на какой-нибудь тихой станции, находящейся неведомо где, и вслушиваться в шипение отдыхающего двигателя, в лязг молотка, которым бригадир путевых

²⁰ Ты (*афр.*).

рабочих простукивает колеса, проверяя их. А когда они на рассвете добираются до Фрейзбург-Роуд, их ждет там улыбающийся во весь рот дядя Сон в старой, покрытой масляными пятнами войлочной шляпе. Он произносит: «*Jis-laaik, maar jy word darem groot, John!*» – Какой ты большой стал, Джон! – и присвистывает сквозь зубы, а после этого они грузят свои вещи в «студебеккер» и пускаются в неблизкий путь к ферме.

Он принимает без вопросов все виды охоты, какие практикуются в Фозельфонтейне. Принимает поверье, что охота удастся, если в самом начале ее увидеть зайца или услышать, как болбочут вдали дрофы, – по крайней мере, найдется о чем рассказать остальным членам семьи, которые ко времени их возвращения под высоким уже солнцем будут сидеть на веранде и пить кофе. В большинство утр рассказать оказывается не о чем – совсем.

По дневной жаре, когда нужные им животные дремлют в тени, охотиться бессмысленно. А вот вечерами они иногда разъезжают в «студебеккере» по проселочным дорогам – дядя Сон сидит за рулем, отец с его тридцатым калибром на пассажирском сиденье, а он и Рос располагаются сзади, на откидном.

Обычно выскакивать из машины, открывать в очередной изгороди ворота, пропускать мимо себя машину, закрывать за нею ворота и так раз за разом – работа Роса. Однако во время их охотничьих выездов этой привилегии удостоивается он – Рос только наблюдает и отпускает одобрительные замечания.

Вечерами они охотятся на дичь легендарную, на большую дрофу. Впрочем, поскольку ее и увидеть-то теперь удастся только раз-два в году – она обратилась в такую редкость, что тому, кого ловят с убитой большой дрофой в руках, приходится платить штраф в пятьдесят фунтов, – они довольствуются охотой на дроф обычных. Потому-то они и берут с собой Роса – он бушмен, или почти бушмен, и потому должен обладать сверхъестественной зоркостью.

И действительно, именно Рос прихлопывает по крыше машины, первым увидев дроф: серые с коричневым птицы величиной с курицу-молодку трусят среди зарослей группками по две, по три. «Студебеккер» останавливается, отец укладывает ружье на обрез окна, прицеливается; хлопок выстрела далеко и широко разносится по вельду. Иногда испуганные птицы взлетают, но чаще просто убыстряют бег, издавая характерные для них булькающие звуки. В дрофу отец так ни разу и не попал, отчего и он ни разу не видел этой птицы с близкого расстояния.

Во время войны отец был стрелком, палил из зенитного пулемета «бофорс» по немецким и итальянским самолетам. Интересно, сбил ли хоть один? Наверняка можно сказать только одно – *этим* он никогда не бахвалится. Как он вообще попал в пулеметчики? Или солдатам просто указывают, кто из них будет кем, – и указывают как бог на душу положит?

Единственная охота, в которой они добиваются успеха, – это ночная, постыдная, как он быстро обнаруживает, такой не похвастаешься. Метод прост. После ужина они забираются в «студебеккер», и дядя Сон отвозит их в темноте на поля люцерны. Доехав до определенного места, он останавливается и включает передние фары. Меньше чем в тридцати ярдах от них стоит, замерев, антилопа, штейнбок. Уши ее наклонены в их сторону, ослепленные глаза отражают свет. «*Skiet!*»²¹ – шипит дядя. Отец стреляет, антилопа падает.

Они уверяют себя, что это правильная охота, потому что антилопы – вредители, поедающие люцерну, которую растят для овец. Однако, впервые увидев крохотное мертвое животное, не превосходящее размерами пуделя, он понимает – это пустые слова. Они охотятся по ночам оттого, что подстрелить кого-нибудь днем у них умения не хватает.

С другой стороны, мясо антилопы, отмоченное в уксусе и поджаренное (он наблюдает за тетей, отрезающей ломти темной плоти и фарширующей их корицей и чесноком), вкусно до упоения, вкуснее ягнятины – острое и мягкое настолько, что оно тает во рту. В Кару все

²¹ Стреляй! (*афр.*)

необыкновенно вкусно: персики, арбузы, тыквы, баранина, – как будто все, чему удастся найти пропитание на этой безводной земле, уже благословенно свыше.

Прославленными охотниками им не стать. И все же он любит тяжесть ружья в своей руке, звук их шагов по серому речному песку, безмолвие, которое, когда они останавливаются, опускается на них, точно тяжелая туча, и окружающий их пейзаж – охряный, серый, желто-коричневатый и оливково-зеленый.

В последний свой день на ферме он может, таков ритуал, потратить все оставшиеся в его коробке патроны двадцать второго калибра, стреляя по стоящим на столбах изгороди консервным банкам. Дело это непростое. Ружье у него не из лучших, да и стрелок он не бог весть какой. Вся семья наблюдает за ним с веранды, и потому стреляет он торопливо и чаще мажет, чем попадает.

Как-то утром он уходит один по руслу реки, чтобы пострелять по мышанкам, и там его двадцать второй калибр заклинивает. Патрон застревает в магазине, выволить его не удастся. Он возвращается домой и узнает, что дядя Сон и отец уехали в вельд. «Попроси Роса или Фрика», – предлагает ему мать. Он находит Фрика в конюшне, однако Фрик даже притрагиваться к ружью не желает. То же самое и Рос, когда он отыскивает Роса. Они ничего не объясняют, но похоже, что при виде ружья на них нападает священный ужас. Приходится дожидаться дяди, который и выковыривает патрон перочинным ножом. «Я попросил Роса и Фрика, – ябедничает он, – но они мне не помогли». Дядя покачивает головой. «Не проси их прикасаться к оружию, – говорит он. – Они знают, что не должны его трогать».

Не должны. Почему не должны? Никто ему не объясняет. И он начинает размышлять над самым этим выражением «не должны». На ферме он слышит его чаще, чем где бы то ни было еще. «Ты не должен это трогать». «Вот это есть ты не должен». Может быть, если все же придется бросить школу и попроситься жить на ферме, именно такую цену ему и назначат: перестать задавать вопросы, подчиняться всем «не должен» и просто делать, что велено? Будет ли он готов подчиниться, заплатить такую цену? И неужели в Кару – единственном месте на свете, в каком ему хотелось бы жить, – невозможно просуществовать иначе: так, как ему нравится, без семьи?

Ферма огромна, настолько огромна, что, когда во время одной из охот он и отец подходят к идущей поперек речного русла изгороди и отец объявляет, что они добрались до границы между Фоэльфонтейном и соседней фермой, его эти слова поражают. В его воображении Фоэльфонтейн – самостоятельное царство. Одной жизни просто-напросто не хватит, чтобы узнать весь Фоэльфонтейн, каждый его камень и куст. Да и никакого времени не хватит, чтобы исследовать место, которое любишь такой всепоглощающей любовью.

Лучше всего знает он Фоэльфонтейн летний, в это время ферму словно разглаживает льющийся с неба ровный, слепящий свет. Однако и у Фоэльфонтейна есть свои тайны, принадлежащие не теням и ночи, но жарким послеполуденным часам, времени, когда на горизонте танцуют миражи и самый воздух поет в ушах. В такие часы все спят, утомленные зноем, и он может на цыпочках выбраться из дома и подняться по склону к лабиринту обнесенных каменными стенами краалей, свидетелей стародавнего времени, когда в них тысячами пригоняли из вельда овец, чтобы пересчитать их, или остричь, или продезинфицировать. Толстые, в два фута, стены краалей выше его, они сложены из синевато-серых камней, каждый из которых привозили сюда отдельно, на запряженной ослом тележке. Он пытается представить себе стада овец, теперь уже мертвых, сгинувших, но когда-то укрывавшихся от солнца под этими стенами. Пытается представить Фоэльфонтейн, каким тот был, когда большой дом, и надворные постройки, и краали только еще возводились: место кропотливой, муравьиной работы, продолжавшейся из года в год. К нынешнему времени шакалов, которые резали овец, истребили – перестреляли или перетравили, – и ставшие ненужными краали медленно обращаются в руины.

Их стены бесцельно ползут на мили вверх и вниз по склону горы. Внутри стен ничего не растет: земля здесь вытоптана до того, что все живое в ней погибло, – как это может быть, он не понимает, однако земля выглядит какой-то пятнистой, желтой, больной. Когда он входит в крааль, стены отрезают его от всего на свете – кроме неба. Его предупредили: сюда лучше не лезть, здесь полно змей, а если он позовет на помощь, никто его не услышит. Змеи, сказали ему, после полудня нежатся в краалях на солнцепеке: выползают из нор – ошейниковые кобры, шумящие гадюки, песчаные ужи, – чтобы погреть под солнцем свою холодную кровь. Ни одной змеи он в краалях пока что не видел, но тем не менее следит за каждым своим шагом.

Фрик однажды наткнулся за кухней – там, где женщины развешивают постиранное, – на песчаного ужа, забил его до смерти палкой и бросил длинное желтоватое тело поверх кустов. Женщины туда несколько недель не заходили. Змеи женятся на всю жизнь, сказала Трин; и когда убивают мужа, жена приползает, чтобы отомстить.

Весна и сентябрь – лучшее время для приезда в Кару, вот только школьные каникулы продолжаются и тогда, и тогда всего неделю. В один из их сентябрьских приездов на ферме появляются стригали. Появляются словно ниоткуда – диковатые люди на велосипедах, нагруженных постельными скатками, кастрюлями и сковородками.

Стригали, обнаруживает он, люди особенные. Если они вдруг сваливаются, точно с неба, на ферму, следует считать, что ей повезло. Чтобы удержать их здесь, выбирают и режут самого жирного хамеля²² – валуха. Они занимают старую конюшню, обращая ее в свой барак. Ночью в небо взвивается пламя большого костра – стригали пируют.

Он присутствует при долгом разговоре дяди Сона с вожаком стригалей, мужчиной настолько темнокожим, резким и сильным, что его вполне можно принять за туземца. Они говорят о погоде, о состоянии пастбищ в провинции Принс-Альберт, в провинции Бофор, в провинции Фрейзербург, о плате за работу. Африкаанс, на котором изъясняются стригали, настолько невнятен и переполнен незнакомыми оборотами, что он едва их понимает. Откуда они? Выходит, в стране есть места куда более недостижимые, чем Фозльфонтейн, сердцевины, нутро, еще больше обособленное от мира?

На следующее утро, за час до зари, его будит топот копыт – это первое стадо овец гонят мимо дома, чтобы запереть их в ближайшем к стригальне краале. Дом пробуждается. На кухне шум, суета, пахнет кофе. Едва начинает светать, он, уже одетый, выходит наружу, слишком взволнованный, чтобы дожидаться завтрака.

Ему дают поручение – держать большую жестянку, наполненную сухими бобами. Каждый раз, как стригаль заканчивает обрабатывать очередную овцу – отпускает ее, хлопнув по задку, и бросает состриженное на сортировочный стол, а овца, голая, розовая, с кровоточащими ранками там, где стригаль зацепил ее кожу, нервной пробежкой удаляется во второй загон, – каждый раз стригаль получает право взять из жестянки один боб, что и делает, кивая и произнося вежливое «*My basie!*».

Когда ему надоедает держать жестянку (стригали могут брать бобы и без него, они – люди деревенские, о нечестности, считай, и не слышали), он вместе с братом берется помогать тем, кто вяжет шерсть в кипы, – оба подпрыгивают на ней, плотной, жаркой, соляной. Его приехавшая из Скипперсклофа кузина, Агнес, тоже здесь. Она и ее сестра присоединяются к ним, они вчетвером скачут по шерсти, точно по огромной перине, смеясь и выделявая курбетты.

Агнес занимает в его жизни место, ему пока не понятное. Он познакомился с ней в семь лет. Приглашенные в Скипперсклоф, они приехали туда уже под вечер, после долгой дороги. В небе теснились облака, солнце не грело. Холодный зимний свет сообщал вельду глубокий красновато-синий тон, без следа какой-либо зелени. Даже главный дом фермы выглядел него-

²² Hamel (афр.) – холощенный баран.

степриимно: суровый белый прямоугольник под острой цинковой крышей. Никакого сходства с Фозельфонтейном; не хотел бы он жить здесь.

Агнес, которая старше его на несколько месяцев, отпустили погулять с ним. Она повела его в вельд. Шла босиком, у нее даже собственных туфелек не было. Вскоре дом скрылся из виду, их окружила пустота. Они разговорились. Волосы Агнес были собраны в две косички, она слегка пришепetyвала, ему это понравилось. Он утратил обычную сдержанность. Забыл, беседуя с ней, на каком языке говорит: мысли его сами превращались в слова, прозрачные и ясные.

Теперь он уже не помнит, о чем рассказывал Агнес в тот вечер. Но рассказал он ей все – все, что делает, что знает, на что надеется. Она молча слушала его. И, еще рассказывая, он понял, что день сегодня особенный – из-за нее.

Солнце уже садилось, неистово багровое, но ледяное. Облака темнели, ветер усиливался, пробиваясь сквозь его одежду. А на Агнес только и было что хлопковое платьице, да и ступни ее посинели от холода.

«Где вы были? Что делали?» – спрашивали взрослые, когда они вернулись в дом. «*Niks nie*», – ответила Агнес. Ничего.

Здесь, в Фозельфонтейне, ходить на охоту Агнес не разрешают, однако она может бродить с ним по вельду или ловить лягушек в большом пруду. С ней он чувствует себя иначе, чем со школьными друзьями. Это как-то связано с присущей ей мягкостью, готовностью слушать, но и с ее загорелыми стройными ногами, с босыми ступнями, с тем, как она, словно танцуя, перескакивает с камня на камень. Он умен, лучший ученик своего класса; и о ней говорят, что она умница; гуляя, они обсуждают вопросы, услышав которые взрослые только головами качают: было ли у Вселенной начало; что лежит за Плутоном, темной планетой; где находится Бог, если Он существует?

Отчего ему так легко разговаривать с Агнес? Оттого, что она девочка? На любой его вопрос она отвечает охотно и мягко, ничего не утаивая. Агнес – его двоюродная сестра, стало быть, влюбиться друг в дружку и пожениться они не могут. И в каком-то смысле это хорошо: он волен просто дружить с ней, раскрывать перед ней сердце. Но что, если он все-таки любит ее? Это и есть любовь – ненатужная щедрость, чувство, что тебя наконец-то поняли, ненужность притворства?

Стригали работают весь день и весь следующий, едва прерываясь на то, чтобы поесть, состязаясь друг с другом в быстроте. К вечеру второго дня работа оказывается выполненной, каждая овца фермы остриженной. Дядя Сон выносит из дома брезентовый мешок с бумажными деньгами и монетами и платит каждому стригалу в зависимости от числа предъявляемых им бобов. За этим следует еще один костер и еще одно пиршество. А на следующее утро стригали покидают ферму, и она возвращается к прежней неторопливой жизни.

Шерсти набралось столько, что кипы ее переполняют сарай. Дядя Сон обходит их с трафаретом и штемпельной подушечкой, проставляя на каждой свое имя, название фермы, сорт шерсти. Еще через день появляются огромные грузовики (как они перебрались через песчаное русло Бушменской реки, в котором даже легкие машины и те увязают?), кипы укладывают в них, и грузовики уезжают.

Это повторяется каждый год: приключение, волнение. И так всегда и будет: нет причин, по которым этому мог бы прийти конец, – существовали бы сами годы.

Секретное и священное слово, которое связывает его с фермой, таково: «принадлежать». Когда он выходит в вельд один, то позволяет себе негромко сказать: «Я пришел с фермы». Во что он действительно верит, но чего не произносит вслух, держит при себе из страха разрушить волшебство, так это в слова «я принадлежу ферме».

Он никому этого не говорит, потому что такую фразу очень легко понять превратно, легко обратить в ее противоположность: «Ферма принадлежит мне». А она никогда ему при-

надлежать не будет, он навсегда останется здесь не более чем гостем: и понимает это, и принимает. От мысли о том, что он мог бы и вправду жить в Фоэльфонтейне, называть ферму своим домом и больше не спрашивать разрешения делать то, что ему хочется, у него начинает кружиться голова, и он эту мысль отгоняет. «Я принадлежу ферме»: дальше этого он пойти не готов, даже в самой что ни на есть глубине души. Но в той же самой глубине он знает то, что знает и ферма: на самом деле Фоэльфонтейн не принадлежит никому. Ферма больше любого из людей. Ферма существует от века до века. Когда все они умрут, когда даже фермерский дом обратится, подобно краалям на склоне горы, в руины, ферма так и останется здесь.

Как-то раз – далеко от дома, в вельде – он наклоняется и вытирает ладони в пыли, словно омывая их. Это ритуал. Он совершает ритуал. Он еще не знает пока, что такое ритуал, и все же радуется, что никто его не видит и никому про это не расскажет.

Принадлежность ферме – его тайная доля, доля, с которой он появился на свет и которую радостно принимает. Другая его тайна состоит в том, что, как бы он этому ни противился, он все еще принадлежит своей матери. Для него не секрет, что две эти зависимости приходят в столкновение. Как не секрет и то, что на ферме хватка матери ослабевае больше, чем где бы то ни было еще. Неспособная, будучи женщиной, охотиться, неспособная даже выходить в вельд, она попадает в проигрышное положение.

У него две матери. Дважды рожденный: один раз женщиной, другой – фермой. Две матери – и ни одного отца.

В полумиле от фермерского дома дорога разветвляется, левая идет к Мервевиллю, правая к Фрейзербургу. А в развилке лежит кладбище: участок земли, обнесенный оградой с воротами. Над кладбищем господствует мраморное надгробие дедушки; вокруг него теснятся около дюжины других могил, пониже чином и попроще, с надгробиями из аспидного сланца – на одних выбиты имена и даты, на других и того нет.

Дедушка – единственный здесь Кутзее, единственный, кто умер в семье с того времени, как ферма стала ее собственностью. Здесь он закончил свой путь, человек, начавший как уличный торговец в Пикетберге, затем открывший магазин в Лайнгсбурге и ставший там мэром города, а затем купивший отель во Фрейзербург-Роуде. Он лежит здесь, погребенный, но ферма по-прежнему принадлежит ему. Дети его снуют по ней, точно карлики, и внуки тоже – карлики среди карликов.

По другую сторону дороги находится еще одно кладбище, неогороженное, кое-какие из его могильных холмиков выветрились настолько, что кажется, будто земля впитала их в себя. Здесь лежат слуги и батраки фермы, череда их восходит к самому Ауте Япу, а от него тянется дальше в прошлое. Те могильные камни, которые еще стоят, не несут на себе ни дат, ни имен. И все же здесь он испытывает благоговейный трепет, больший, чем среди сгрудившихся вокруг его деда поколений Боутсов. К привидениям это чувство никакого отношения не имеет. В Кару никто в привидения не верит. Тот, кто умирает здесь, умирает раз и навсегда: муравьи растаскивают его плоть, солнце выбеливает кости, тем все и кончается. И однако же, когда он обходит эти могилы, ему становится не по себе. Глубокое молчание исходит из земли, такое глубокое, что оно кажется гулом.

Ему хотелось бы, чтобы, когда он умрет, его похоронили на ферме. Если ее хозяйева не согласится на это, пусть тогда его сожгут, а пепел развеют здесь.

Еще одно место, в которое он каждый год совершает паломничество, – это Блумхоф – там стоял самый первый фермерский дом. Теперь от него остался только фундамент, никакого интереса не представляющий. Когда-то перед домом был пруд, питаемый подземным источником, однако источник этот давно пересох. От разбитых здесь некогда огорода и сада не осталось и следа. Но рядом с источником выросла из голой земли да так и стоит огромная одинокая пальма. В ее дупле поселился рой пчел, маленьких, черных и злющих. Ствол пальмы почер-

нел от дыма костров, которые в течение многих лет разводят здесь люди, приходящие, чтобы отнять у пчел мед; однако пчелы не улетают, они так и продолжают собирать нектар – бог их знает, где они находят его на этой сухой, серой земле.

Ему хотелось бы, чтобы пчелы, когда он навещает их, понимали, что он приходит с чистым сердцем, не воровства ради, но желая отдать им дань уважения. Однако стоит ему приблизиться к пальме, как пчелы начинают гневно жужжать, а затем на него налетают, норовя отогнать, их передовые посты – как-то раз ему пришлось даже с позором удирать по вельду от преследовавшего его роя, виляя из стороны в сторону и отмахиваясь руками, спасибо еще никто этого не видел и не посмеялся над ним.

Каждую пятницу на ферме режут овцу. Он отправляется вместе с Росом и дядей Соном, чтобы выбрать ту, которой предстоит умереть, а после смотрит, как на не видном из дома месте за сараем, отведенном для забоя скота, Фрик берет овцу за ноги и прижимает их к земле, а Рос безобидным с виду карманным складным ножом перерезает ей горло, потом оба крепко держат животное, которое бьется, дергается, кашляет, пока из него струей бьет кровь. Он продолжает наблюдать за Росом, который свежует еще теплый труп, и подвешивает тушу к ветке гевети, и вспарывает живот, и вытягивает, складывая их в тазик, внутренности: большой, синий, набитый травой желудок, кишечник (Рос выдавливает из прямой кишки последний помет, от которого сама овца избавиться не успела), сердце, печень, почки – все, что крылось внутри овцы и кроется внутри него.

Тем же самым ножом Рос и ягнят кастрирует. И за этим он наблюдает тоже. Юных ягнят с их матерями загоняют в загон. Там Рос расхаживает среди них, хватая ягнят, одного за другим, за заднюю ногу, прижимая их, отчаянно блеющих от ужаса, к земле и вскрывая мошонки. Голова его резко опускается вниз, он сжимает зубами яички, вытягивает их наружу. Они похожи на двух маленьких медуз, за которыми тянутся синие и красные кровеносные сосуды.

Рос отсекает заодно и хвост ягненка и отбрасывает его в сторону, оставляя окровавленный обрубок.

Рос, с его короткими ногами, в мешковатых, ношенных-переносимых, обрезанных ниже колен штанах, домодельных башмаках и драной шляпе, шаркая, точно клоун, бродит среди ягнят, безжалостно уродуя их. Под конец операции ягнята встают, израненные и истекающие кровью, рядом со своими матерями, не сделавшими ничего, чтобы их защитить. Рос складывает нож. Работа сделана, он улыбается, коротко и криво.

Обсудить увиденное ему не с кем. «Зачем ягнятам отрезают хвосты?» – спрашивает он у матери. «Потому что иначе у них под хвостами заведутся мясные мухи», – отвечает она. Оба притворяются – оба знают, о чем на самом деле был задан вопрос.

Однажды Рос дал ему подержать свой складной нож, показал, с какой легкостью тот перерезает волос. Волос даже не согнулся, просто распался на две половинки от легчайшего прикосновения ножа. Рос точит его каждый день – плюет на оселок и водит по нему ножом взад-вперед, легко, едва касаясь камня. То же и с лопатой Роса: он столько раз точил ее, рубил ею корни и снова точил, что от лезвия лопаты осталась лишь полоска стали в дюйм-другой шириной, а деревянный черенок ее стал гладким и почернел от впитавшегося в него за долгие годы пота.

– Не стоило бы тебе смотреть на это, – говорит ему мать в одну из пятниц, когда он приходит после забоя овцы домой.

– Почему?

– Да просто не стоит.

– Мне хочется.

И он возвращается, чтобы посмотреть, как Рос растягивает шкуру овцы на колышках и посыпает ее каменной солью.

Ему нравится наблюдать за работой Роса, Фрика и дяди. Сон хочет, надеясь извлечь выгоду из выросших цен на шерсть, завести на ферме новых овец. Однако в последние несколько лет дождей выпадало мало, вельд высох, трава и кусты его никнут к земле. И потому Сон решает перепланировать всю ферму, разбить ее на небольшие, заново огороженные лагеря и перегонять овец из одного в другой, давая вельду время отдохнуть. Сон, Рос и Фрик уезжают каждый день, чтобы врыть столбы изгородей в твердую как камень землю, протягивать фарлонг за фарлонгом проволоки, натягивать ее, точно струну, и закреплять.

Дядя Сон неизменно добр с ним, и все-таки он знает – дядя его недолюбливает. Как он это понял? По выражению неловкости, которое появляется в глазах Сона при его приближении, по натужности в его голосе. Если бы Сон и вправду любил его, то был бы с ним бесцеремонен и прост – как с Росом и Фриком. А вместо этого Сон следит за тем, чтобы всегда говорить с ним по-английски – даже притом, что отвечает он на африкаанс. Для обоих это уже стало вопросом чести, и как им выбраться из этой западни, они не знают.

Он говорит себе, что в неприязни, которую питает к нему дядя, нет ничего личного, все дело просто в том, что он, сын младшего брата Сона, старше, чем его, Сона, сын – тот совсем еще ребенок. Однако он боится, что корни этой неприязни уходят намного глубже, что дядя осуждает его за преданность матери, незваной гостье их семьи, а не отцу – ну и еще за то, что он неискренен, нечестен и вообще никакого доверия не внушает.

Если бы ему пришлось выбрать себе отца – выбирать между Соном и его настоящим отцом, – он выбрал бы Сона, несмотря даже на то, что тогда он безвозвратно обратился бы в африкандера и вынужден был, как все дети фермы, провести годы в чистилище африкандерской школы-интерната, прежде чем смог бы вернуться сюда.

А может быть, у дядиной нелюбви к нему существует причина еще более глубокая: Сон ощущает темные притязания на него со стороны чужого ребенка и отвергает их, совсем как мужчина, который норовит стряхнуть цепляющегося за него младенца. Он постоянно наблюдает за Соном, любясь мастерством, с которым тот делает все – от лечения больной овцы до починки ветряного насоса. Особенно зачаровывает его присущее дяде знание животных. Бросив на овцу всего один взгляд, Сон может назвать не только ее возраст и породу, не только сказать, какого сорта шерсть она будет давать, но и какова на вкус каждая часть ее тела. Овцу для забоя он выбирает, исходя из того, хороши ли будут ее ребра, когда их поджарят, или ляжки, когда их запекут.

Мясо он любит. И с нетерпением ждет ударов полуденного колокола и роскошного обеда, который они обещают: блюд жареной картошки, желтого риса с изюмом, батата со сладкой подливой, тыквы с коричневым сахаром и кубиками мягкого хлеба, кисло-сладких бобов, свекольного салата, а в середине стола, на почетном месте – самое большое блюдо с бараниной в собственном ее соку. Впрочем, посмотрев, как Рос режет овец, он старается с сырым мясом дела больше не иметь. Вернувшись в Вустер, он предпочитает не заходить в мясную лавку. Его отталкивает небрежная легкость, с которой мясник шлепает о прилавок куском мяса, разрезает его, заворачивает в бурую бумагу, пишет на ней цену. А когда он слышит скрипучее пение режущей кость ленточной пилы, ему хочется заткнуть уши. Вид печени, назначение которой остается для него туманным, его не очень смущает, но от выставленных в витрине сердец и уж тем более от подносов с требухой он отворачивается. Он и на ферме-то требуху есть отказывается, хоть ее и считают там большим деликатесом.

Ему невдомек, почему овцы принимают свою участь, почему никогда не бунтуют, а смиренно идут на смерть. Если антилопа знает, что нет на свете ничего хуже, чем попасть в руки человека, и до последнего своего дыхания старается убежать, почему овца так тупа? Ведь овцы – животные и должны обладать свойственной животным остротой чувств: почему же они не слышат последнего блеяния жертвы, убиваемой за сараем, почему не чуют запаха крови, не берут его на заметку?

По временам, оказавшись среди овец – когда их сгоняют для дезинфекции и до отказа набивают ими загон, из которого они убежать не могут, – он испытывает желание пошептаться с ними, предупредить о том, что их ждет. Но затем улавливает в их желтых глазах проблеск чего-то такого, что заставляет его молчать: покорности, предвидения не только того, что происходит за сараем с попавшей в руки Роса овцой, но и того, что ожидает их всех под конец долгой, сопряженной с мучительной жаждой поездки в Кейптаун на большом грузовике. Они знают все, до малейшей подробности, и на все согласны. Они подсчитали цену и готовы ее заплатить – цену того, что они живут на земле, цену того, что они живут.

Глава двенадцатая

В Вустере всегда дует ветер, немощный и холодный зимой, сухой и горячий летом. Проведя час под открытым небом, ты обнаруживаешь мелкую красную пыль у себя в волосах, в ушах, на языке.

Мальчик он здоровый, полный сил и энергии и тем не менее часто простужается. По утрам он просыпается с комом в горле, с красными глазами, из носу течет – не остановишь, его бросает то в жар, то в холод. «Я заболел», – хрипло сообщает он матери. Мать притрагивается к его лбу тылом кисти. «Ну, тогда лежи в постели», – вздыхает она.

Остается миновать еще один трудный момент – это когда отец спросит: «А где Джон?» – и мать ответит: «Заболел», а отец фыркнет и скажет: «Опять прикидывается». После этого он лежит как может тихо, пока отец не уходит, пока не уходит брат и он не получает наконец возможность приняться за целодневное чтение.

Читает он очень быстро и в книгу уходит с головой. Во время его болезней матери приходится два раза в неделю заглядывать в библиотеку, чтобы брать ему книги: две на свою карточку и две на его. Сам он библиотеки избегает, опасаясь возможных расспросов библиотекарши.

Он понимает: если ему хочется стать великим человеком, нужно читать серьезные книги. Он должен стать таким, как Авраам Линкольн или Джеймс Уатт, учивший при свече, пока все спали, латынь, греческий и астрономию. От мысли стать великим человеком он пока что не отказался и обещает себе взяться вскоре за серьезное чтение, но сейчас ему хочется только одного – читать захватывающие истории.

Он прочитывает все детективы Энид Блайтон, все повести о мальчиках Гарди²³ и все, написанное о Бигглсе²⁴. Однако больше всего ему нравятся книги о французском Иностранном легионе, которые писал Персиваль Кристофер Рен. «Кто самый великий писатель на свете?» – спрашивает он у отца. Отец говорит: Шекспир. «А почему не Персиваль Кристофер Рен?» – спрашивает он. Отец Рена не читал и, несмотря на его военное прошлое, читать, похоже, не собирается. «Персиваль Кристофер Рен написал сорок шесть книг. А Шекспир сколько?» – с вызовом осведомляется он и начинает перечислять названия. Отец произносит: «А-ай!» – и раздраженно отмахивается, но ничего не отвечает.

Если отцу нравится Шекспир, значит это плохой писатель, решает он. Тем не менее он начинает читать Шекспира, книгу с желтоватыми, обмахрившимися по краям страницами, полученную отцом в наследство и, наверное, стоящую немалых денег, раз она такая старая. Он пытается понять, почему Шекспира называют великим. Прочитывает «Тита Андроника» – из-за римского названия этой пьесы, – затем «Кориолана», пропуская длинные монологи, как пропускает описания в книгах из библиотеки.

Кроме Шекспира, у отца есть еще томики стихов Вордсворта и Китса. А у матери – томик Руперта Брука. Они занимают почетное место на каминной полке в гостиной, рядом с Шекспиром, «Легендой о Сан-Микеле»²⁵ в особом кожаном футляре и книгой А. Дж. Кронина про какого-то врача²⁶. «Легенду о Сан-Микеле» он начинал читать дважды, но каждый раз ему ста-

²³ Повести о подростках-детektивах братьях Фрэнке и Джо Гарди публикуются издательским синдикатом Стратемейера с 1927 г. под коллективным псевдонимом Франклин У. Диксон.

²⁴ О приключениях воздушного аса Джеймса Бигглсуорта по прозвищу Бигглс писал в 1932–1968 гг. английский пилот и писатель У. Э. Джонс (1893–1968).

²⁵ Автобиографическая книга шведского врача Акселя Мунте (1857–1949).

²⁶ Цикл рассказов и повестей шотландского писателя Арчибальда Джозефа Кронина (1896–1981) о сельском враче докторе Финлее публиковался с 1935 г. в журнале «Космополитен»; первый сборник, «Приключения черного саквояжа», вышел в 1943 г.

новилося скучно. Он так и не понял, кто такой этот Аксель Мунте, правдивая это книга или выдуманная и про что она – про девушку или про какое-то место.

Однажды отец заходит в его комнату с книжкой Вордсворта в руке. «Ты должен это прочитать», – говорит он и указывает на стихи, помеченные им карандашными галочками. А еще через несколько дней приходит снова, чтобы обсудить с ним стихи. «„Грохот водопада меня преследовал, вершины скал, гора, глубокий и угрюмый лес – их очертанья и цвета рождали во мне влечение – чувство и любовь“²⁷, – цитирует отец. – Великая поэзия, верно?» Он бормочет что-то, отказываясь встречаться с отцом глазами, отказываясь подыгрывать ему. И очень скоро отец сдается.

Он о своей неподатливости не сожалеет. Он не понимает, какое отношение может иметь поэзия к жизни отца, и подозревает, что это всего лишь притворство. Когда мать говорит, что ей приходилось, чтобы избежать насмешек сестер, украдкой забираться с книжкой на чердак, он ей верит. Но представить себе отца читающим в детские годы стихи не может – сейчас отец читает одни газеты. По его представлениям, отец в том возрасте только и делал, что отпуская остроумия, смеялся да сигареты за кустами курил.

Он наблюдает за читающим газету отцом. Читает отец быстро, нервно, перелистывая страницы словно в поисках чего-то, в газете отсутствующего, перелистывая шумно и прихлопывая их ладонью. Дочитав, он складывает газету в узкую полоску и принимается за кроссворд.

Мать тоже преклоняется перед Шекспиром. Она считает, что величайшая его пьеса – «Макбет». «Если б что-то там, все следствия предусмотрев... – бормочет она и запинаясь, а затем продолжает, подчеркивая кивками ритм, – всегда несло успех»²⁸ – и добавляет: «Всем благовониям Аравии не отмыть этого запаха»²⁹. «Макбета» она проходила в школе. Учительница стояла у нее за спиной и щипала мать за руку, пока та не дочитывала монолог до конца. «*Kom poi*, – повторяла учительница, – Ну, давай же», – и щипала, и мать выдавливала из себя следующие несколько слов.

Чего он не может понять в матери, так это правильности ее английского, особенно письменного, – даром что ума на то, чтобы помочь ему с домашними заданиями, которые он получает в Четвертом Стандартном, ей явно не хватает. Слова она использует в их правильном смысле, грамматика у нее безупречная. В английском языке мать чувствует себя как рыба в воде, там ее на ошибке поймать невозможно. Как это могло получиться? Отца ее звали Питом Вемейером, имя самое африкандерское. В альбоме есть его фотография: рубашка без ворота, широкополая шляпа – самый обычный фермер. Жили они в провинции Юниондейл, а там англичане не встречаются; чуть ли не все их соседи носили фамилию Зондаг. А ее мать была урожденной Мари дю Биль – происхождение немецкое, ни капли английской крови. И однако же, детям своим она давала английские имена – Роланд, Уинфрид, Эллен, Вера, Норман, Ланселот – и дома разговаривала с ними только по-английски. Где они могли освоить английский – Мари и Пит?

Английский отца почти так же хорош, хотя в нем слышатся отголоски африкаанса: отец говорит «*thutty*» вместо «*thirty*»³⁰. Решая кроссворд, отец обязательно роется в «Оксфордском карманном словаре английского языка». Похоже на то, что он знаком – по крайней мере, шапочно – с каждым словом этого словаря, да и с каждой идиомой тоже. Отец с наслаждением

²⁷ Уильям Вордсворт. «Строки, написанные на расстоянии нескольких миль от Тинтернского аббатства». Перевод В. Рогова.

²⁸ «Макбет», акт I, сцена 7; цитата сильно искажена: «Если б злодеянье, все следствия предусмотрев, всегда вело к успеху» (перевод Ю. Корнеева).

²⁹ «Макбет», акт V, сцена 1; опять-таки: «Всем благовониям Аравии не отбить этого запаха» (перевод Ю. Корнеева).

³⁰ Тридцать (англ.).

произносит самые глупые из них, словно пытаясь понадежнее устроить их в своей памяти: *pitch in*³¹, *come a cropper*³².

С Шекспиром он дальше «Кориолана» не продвинулся. Газеты ему скучны – если не считать спортивных страниц и комиксов. Когда читать становится совсем уж нечего, он принимается за зеленые книги. «Принеси зеленую книгу!» – кричит он матери со своего ложа болезни. Зеленые книги – это тома «Детской энциклопедии» Артура Ми, которые ездят с ними повсюду столько, сколько он себя помнит. Он прочитал их от корки до корки десятки раз, а когда был младенцем, вырывал из них страницы, разрисовал все тома цветными мелками, у некоторых переплеты отодрал, так что теперь обходиться с зелеными книгами следует осторожно.

Вообще говоря, он эти зеленые книги не читает, слог их – слишком умильный, слишком детский – вызывает у него раздражение: другое дело – вторая половина десятого тома, алфавитный указатель, полный фактических сведений. Впрочем, чаще всего он задерживается на картинках, в особенности на фотографиях мраморных скульптур, на голых мужчинах и женщинах, обвитых посередине тонкой тканью. Гладкие, стройные мраморные девушки наполняют его эротические сны.

Самое удивительное в его простудах – то, как быстро они проходят. К одиннадцати утра насморк исчезает, голова проясняется и чувствует он себя превосходно. Довольно пропахшей потом пижамы, затхлых одеял, продавленных матрасов и разбросанных повсюду сопливых носовых платков. Он выбирается из постели, но не одевается: не стоит слишком уж искушать судьбу. Главное – не высовывать носа на улицу, ведь кто-то из соседей или прохожих может донести на него, поэтому он возится с конструктором, или наклеивает марки в альбом, или нанизывает пуговицы на нитку, или сплетает из шерсти, из остатков ее мотков, шнуры. Ящик его стола набит такими шнурами, годными только на то, чтобы подпоясывать ими халаты, которых у него нет. Когда в комнату заглядывает мать, он старается принять вид по возможности пристыженный, поеживается от ее язвительных слов.

И все-то подозревают его в мошенничестве. Убедить мать в том, что он и вправду болен, ему не удастся ни разу; она уступает его мольбам лишь потому, что не умеет сказать ему «нет». А школьные друзья считают его нюней и маменькиным сынком.

Но ведь и правда – очень часто он просыпается утром оттого, что ему не хватает воздуха; и чихает по несколько минут подряд, пока у него не перебивает дыхание, и плачет, и хочется ему умереть. Такие-то приступы не подделаешь.

Существует правило: если тебя не было в школе, принеси объяснительную записку. Стандартную записку матери он знает наизусть: «Прошу простить Джона за вчерашнее отсутствие. Он сильно простудился, и я решила, что ему разумнее будет остаться в постели. Искренне ваша». Он, всякий раз предчувствуя недоброе, отдает учительнице эти записки, которые и мать пишет, считая их лживыми, и учительница читает как вранье.

Произведя в конце года подсчет, он обнаруживает, что отсутствовал в школе один день из трех. И все равно остался первым учеником класса. Отсюда он делает вывод, что происходящее в классе никакого значения не имеет. Пропущенное им всегда можно наверстать, не покидая дома. Будь его воля, он вообще в школу не заглядывал бы весь год, приходил бы только на письменные экзамены.

Учителя ничего сверх написанного в учебниках не говорят. Он не презирует их за это – и другие мальчики тоже. На самом деле ему даже не нравится, когда учитель, что случается время от времени, обнаруживает свое невежество. Он защищал бы своих учителей, если бы мог. Он внимательно слушает каждое произносимое ими слово. Но слушает не столько из потребности чему-то научиться, сколько из желания не быть пойманным на том, что он замечтался («А что

³¹ Налечь – в смысле: взяться за дело.

³² Провалиться – в смысле: потерпеть неудачу.

я сейчас сказала? Повтори – что я сейчас сказала?»), вызванным к доске и униженным перед всем классом.

Он уверен в том, что отличается от других, что он особенный. Просто ему пока неизвестно, зачем его послали в мир. Он подозревает, что человеком, почитаемым всеми при жизни, Артуром или Александром, стать ему не удастся. Его оценят и признают только после смерти.

Он ждет зова. Когда его призовут, он будет готов. И неустрашимо ответит на зов, даже если ему придется пойти на смерть, как кавалеристам Легкой бригады. Уровень достижений, к которому он должен стремиться, – это уровень КВ – «Креста Виктории». КВ имеется только у англичан. У американцев он отсутствует, у русских, к его разочарованию, тоже. О Южной Африке и говорить нечего.

И разумеется, КВ – инициалы матери, это его внимания тоже не миновало.

Южная Африка – страна без героев. Вольрад Вольтемад³³, может, и сгодился бы в герои, но уж больно смешное у него имя. Раз за разом вступать в бушующее море, чтобы спасти злополучных моряков, – поведение, несомненно, бесстрашное; но кто его проявлял, бесстрашие, – человек или конь? От мысли о белом коне Вольрада Вольтемада, который снова непоколебимо бросается навстречу волнам (ему нравится словно удвоенная, спокойная сила слова «непоколебимо»), у него подступает к горлу комок.

Вик Товил встречается с Мануэлем Ортисом в бою за звание чемпиона мира в «весе петуха». Бой происходит в субботнюю ночь; он не ложится допоздна, чтобы послушать по радио комментариев. В последнем раунде Товил, окровавленный и уставший, набрасывается на своего противника. Ортис отступает, толпа безумствует, голос комментатора хрипит от крика. Судьи объявляют решение: южноафриканец Викки Товил – новый чемпион мира. Он и отец восторженно кричат и обнимаются. Он не знает, как выразить свою радость. Импульсивно хватается отца за волосы и что есть сил дергает. Отец отскакивает, смотрит на него как-то странно.

Несколько дней газеты печатают сделанные во время боя фотографии. Викки Товил становится национальным героем. А вот его восторги вскоре сходят на нет. Он по-прежнему радуется, что Товил побил Ортиса, однако задумывается о причинах своей радости. Кто для него этот Товил? Почему он не может свободно выбирать в боксе между Товилом и Ортисом, как выбирает в регби между «Гамильтонс» и «Вилладжерс»? Он что же, обязан болеть за Товила, невзрачного человечка со сгорбленными плечами, большим носом и крошечными, пустыми черными глазками, просто потому, что Товил – южноафриканец? А южноафриканцы должны всегда поддерживать других южноафриканцев, даже им незнакомых?

От отца помощи ждать нечего. Отец никогда ничего способного удивить не говорит. Он неизменно предсказывает победу Южной Африки или Западной провинции – в регби, в крикете, в чем угодно. «Как по-твоему, кто победит?» – спрашивает он у отца за день до встречи Западной провинции с Трансваалем. «Западная провинция, с большим отрывом», – без заминки отвечает отец. Они слушают матч по радио, побеждает Трансвааль. Отца это не смущает. «На следующий год победит Западная, – говорит он, – вот увидишь».

Ему кажется глупым верить в победу Западной провинции только потому, что ты из Кейптауна. Уж лучше верить в победу Трансвааля и получить, если тот проиграет, приятный сюрприз.

Ладонь его еще сохраняет ощущение от отцовских волос, жестких, крепких. Совершенный им буйный поступок по-прежнему озадачивает и тревожит его. Раньше он себе таких вольностей с отцом не позволял. Хорошо бы, ничего подобного больше не случилось.

³³ Вольрад Вольтемад (1708–1773) – южноафриканский фермер, в семь приемов спасший 14 моряков с корабля, потерпевшего во время шторма крушение в Столовой бухте, и утонувший, пытаясь спасти других.

Глава тринадцатая

Поздняя ночь. Все в доме спят. Он лежит в постели, перебирая воспоминания. Постель пересекает оранжевая полоска – свет всю ночь горящих в Реюнион-Парке уличных фонарей.

Вспоминает он то, что произошло этим утром во время собрания, пока христиане пели гимны, а евреи и католики гуляли на свободе. Его загнали в угол два старших мальчика, оба католики. «Ты когда на катехизис придешь?» – спросили они. «Я не могу ходить на катехизис, мне мама по пятницам всякие поручения дает, я весь вечер занят», – соврал он. «Если не ходишь на катехизис, значит ты не католик», – заявили они. «Я католик», – ответил он; и снова соврал.

Если худшее *должно* случиться, думает он теперь, значит так тому и быть, если католический священник придет к матери и спросит, почему он не ходит на уроки катехизиса, или – другой кошмар – если директор школы объявит, что все ученики с африкандерскими фамилиями переводятся в африкаанские классы, – если эти кошмары претворятся в реальность и у него не останется иного оружия, кроме вздорного крика, буйства и плача, поведения ребенка, который, знает он, все еще прячется в нем, свернувшись, точно пружина, в колечко, – если вслед за этим буйством ему останется только последний, отчаянный шаг: броситься под защиту матери, отказываясь возвращаться в школу и моля спасти его, – если он сделает это и навеки покроет себя окончательным позором, открыв всем то, что знают лишь он, его мать, а возможно, на свой презрительный манер, и отец, а именно: что он все еще остается ребенком и никогда не вырастет, – если вымыслы о нем, созданные им самим, созданные годами нормального поведения, по крайней мере прилюдного, развалятся и все увидят его настоящее нутро, уродливое, темное, плачущее, младенческое, и станут потешаться над ним, сможет ли он тогда жить? Разве не станет он таким же мерзким, как те уродливые, недоразвитые дети-дауны со слюнявыми ртами, которых лучше всего напичкать снотворным или попросту придушить?

Кровати в доме все как одна старые, усталые, пружины их провисают, они скрипят при малейшем движении. Он лежит так спокойно, как может, лежит в тонкой полоске падающего из окна света, сознавая, что тело его немного повернуто вбок, что кулаки прижаты к груди. И пытается в этом безмолвии вообразить свою смерть. Он вычитает себя из всего: из школы, из дома, из матери; пытается представить, как дни идут своим чередом, но уже без него. И не может. Всегда что-то да остается, что-то маленькое, как уголек, как переживший пожар желудь – сухой, покрытый пеплом, отвердевший, неспособный к росту, но *существующий*. Он может вообразить себя умирающим, но не может – исчезнувшим. И как ни старается, уничтожить последние остатки себя ему не удается.

Что же удерживает его в мире? Страх причинить горе матери, горе настолько огромное, что он не способен вынести мысль о нем дольше одного мига? (Он видит ее в голой комнате, безмолвно стоящей, закрыв глаза руками, и сразу опускает занавес над этой сценой, над этой картиной.) Или в нем есть что-то еще, отказывающееся умирать?

Он вспоминает другой случай, когда его тоже загнали в угол, когда двое мальчишек-африкандеров заломили ему руки за спину и утащили за земляной вал на дальнем конце регбийного поля. Особенно ясно помнит он мальчика покрупнее, такого жирного, что жир обвисал складками под его тесной одеждой, – одного из тех идиотов или полуидиотов, которые могут ломать вам пальцы или пережимать дыхательное горло с такой же легкостью, с какой они сворачивают шею птице, – и мирно улыбаться при этом. Ему было страшно тогда, что и говорить, сердце стучало, как молот. И все же насколько подлинным был тот страх? Пока его волокли, спотыкавшегося, через регбийное поле, не твердило ли что-то внутри него, что-то живое, беспечное: «Не бойся, ничего с тобой случиться не может, это всего лишь новое приключение».

Ничего с тобой случиться не может, и нет ничего, на что ты не способен. Вот две правды о нем, которые, по сути дела, одна – правда о том, что есть в нем хорошего и в то же самое время что есть дурного. Эта правда, состоящая из двух правд, означает, что он не умрет, что бы с ним ни произошло; но не означает ли она также, что и жить он не будет?

Он младенец. Мать отрывает его, подхватив под мышки, от земли – лицом вперед. Ноги его болтаются в воздухе, голова никнет, он голый; но мать держит его перед собой и несет в мир. Ей нет нужды знать, куда она идет, ей нужно лишь следовать за ним. И пока она так шагает, все перед ним обращается в камень, и раскалывается, и рассыпается. Он всего лишь младенец с большим животом и мотающейся из стороны в сторону головкой, но *это* могущество в нем есть.

Тут он засыпает.

Глава четырнадцатая

Звонок из Кейптауна. Тетя Энни упала, споткнувшись о порог своей квартиры в Роуз-бэнке, сломала бедро. Ее отвезли в больницу, кто-то должен приехать, договориться о дальнейшем.

Стоит июль, середина зимы. Весь Западный Кейп накрыт одеялом холода и дождя. Они – он, его мать и брат – едут утренним поездом в Кейптаун, а там автобусом по Клоф-стрит до «Народной больницы». Тетя Энни, кажущаяся в ее ночной рубашке с цветочками совсем крошечной, как дитя, лежит в женском отделении. Отделение переполнено: старухи с худыми, сердитыми лицами, шаркая, бродят по нему в ночных рубашках и что-то шипят себе под нос; толстые, растрепанные женщины с пустыми физиономиями сидят на кроватях, безразлично выставив груди всем на показ. Из громкоговорителя в углу доносится передача «Радио Штейн-бок». Три часа, послеполуденный концерт по заявкам радиослушателей: Нельсон Риддл и его оркестр исполняют «Улыбку в ирландских глазах».

Тетя Энни сжимает морщинистой лапкой руку матери.

– Я не хочу оставаться здесь, Вера, – хриплым шепотом произносит она. – Мне здесь плохо.

Мать гладит ее по ладони, старается успокоить. На тумбочке у койки стоит стакан с водой для зубов тети Энни, лежит Библия.

Старшая медсестра отделения сообщает им, что сломанное бедро тети Энни вправлено. Ей придется провести месяц в постели, пока не срастется кость.

– Женщина она немолодая, это потребует времени.

А после ей придется ходить с костылем.

Помолчав, сестра добавляет, что, когда тетя Энни поступила в больницу, ногти у нее на ногах были длинные и черные, как птичьи когти.

Его брат, заскучав, начинает канючить, жаловаться на жажду. Мать останавливает проходящую мимо нянечку, просит принести стакан воды. Он, смущаясь, глядит в сторону.

Они проходят по коридору в офис социального работника.

– Вы родственники? – спрашивает он. – Сможете приютить ее?

Мать поджимает губы. Качает головой.

– А почему она в свою квартиру вернуться не может? – спрашивает он у матери, когда они выходят из кабинета.

– Куда же ей по лестницам-то лазить? И до магазина она добираться не сумеет.

– Я не хочу, чтобы она у нас жила.

– Она и не будет у нас жить.

Часы посещения больных истекают, пора прощаться. На глазах тети Энни выступают слезы. Она с такой силой стискивает руку матери, что той приходится разжимать ее старые пальцы.

– *Ek wil huistoe gaan, Vera*, – шепчет она: Я хочу домой.

– Потерпи еще несколько дней, тетя Энни, пока снова на ноги не встанешь, – говорит мать самым успокоительным ее тоном.

Этого он никогда прежде в ней не замечал: умения врать.

Наступает его черед. Тетя Энни протягивает к нему руку. Она приходится ему и двоюродной бабушкой, и крестной матерью одновременно. В альбоме есть ее фотография с младенцем на руках, уверяют, что это он. На ней черное платье до щиколоток и старомодная черная шляпка; за спиной ее видна церковь. Поскольку тетя – его крестная мать, она верит, что их связывают какие-то особенные отношения. И похоже, совсем не ощущает отвращения, которое он испытывает к ней, такой морщинистой и уродливой на ее больничной койке, – отвращения,

которое внушает ему все это заполненное уродливыми женщинами отделение. Он старается этого отвращения не показывать, сердце его жжет стыд. Он терпит ее прикосновение, однако ему очень хочется уйти, покинуть это место и никогда в него не возвращаться.

– Ты такой умный, – произносит тетя Энни низким, хрипловатым голосом, каким всегда говорила на его памяти. – Ты уже большой мужчина, мать может положиться на тебя. Ты должен любить ее, быть ей опорой – и братику тоже.

Быть опорой матери? Что за чушь? Его мать – скала, каменный столп. Не он должен быть ей опорой, а она ему! И вообще, с какой стати тетя Энни завела этот разговор? Изображает умирающую, а у нее всего-навсего перелом бедра.

Он кивает, старается сохранить вид серьезного, внимательного, послушного мальчика, хотя втайне желает лишь одного – чтобы она от него отстала. Она улыбается многозначительной улыбкой, говорящей о существовании особой связи между нею и первенцем Веры, связи, которой он ни в малой мере не чувствует и не признает. Глаза у нее тусклые, блекло-голубые, усталые. Ей восемьдесят лет, она почти слепа. Даже в очках Библию толком читать не может, просто держит книгу на коленях и бормочет слова из нее.

Наконец тетя разжимает пальцы, и он, промямлив что-то, отступает от нее.

Очередь брата. Брат покорно дает поцеловать себя.

– До свидания, Вера, – каркает тетя Энни. – *Mag die Here jou seen, jou en die kinders.* – Да благословит Господь тебя и детей.

Времени пять, начинает темнеть. В непривычной сутолоке часа пик они садятся на поезд до Роузбэнка. Им придется заночевать в квартире тети Энни: перспектива, внушающая ему предчувствия самые мрачные.

Холодильника у тети Энни нет. В продуктовом шкафу пусто: несколько морщинистых яблок, половина заплесневелого батона и банка рыбной пасты, которая матери доверия не внушает. Она посылает его в индийскую лавку; затем они ужинают хлебом, джемом и чаем.

Унитаз зарос коричневой грязью. Он представляет себе сидящую на этом унитазе старуху с длинными черными ногтями, и его начинает тошнить. Пользоваться унитазом ему ну никак не хочется.

– Почему мы должны ночевать здесь? – спрашивает он.

– Почему мы должны ночевать здесь? – вторит ему брат.

– Потому, – сурово отвечает мать.

Лампочки у тети Энни сорокаваттные, она экономит электричество. В тусклом желтоватом свете спальни мать начинает укладывать вещи тети в картонные коробки. Он в этой спальне никогда еще не был. На стенах ее висят обрамленные фотографии чопорных, неприветливых мужчин и женщин – это Брехеры, дю Били, его предки.

– А почему она не может жить у дяди Альберта?

– Потому что Китти с двумя больными стариками не справиться.

– Я не хочу, чтобы она жила с нами.

– С нами она жить не будет.

– А где же тогда?

– Мы подыщем для нее дом.

– Что значит «дом»?

– Ну, дом, дом, дом престарелых.

Единственная комната, которая нравится ему в квартире тете Энни, – это кладовка. Она до потолка заполнена старыми газетами и картонками. Еще здесь есть тоже доходящие до потолка полки, забитые книгами: кряжистыми книгами в красных переплетах, с плотными шершавыми страницами – такая бумага использовалась для книг, которые печатались на африкансе, она похожа на промокательную, но с застрявшими в ней кусочками сечки и следами от мух. На корешке каждой стоит название: «*Ewige Genesing*»; на обложке оно же, но полное «*Deur*

'n gevaarlike krankheid tot ewige genesing» – «От тяжкого недуга к вечному здравью». Книгу написал его прадед, отец тети Энни, а она – рассказ об этом он слышал множество раз – посвятила ей всю свою жизнь, сначала переведя ее с немецкого на африкаанс, затем потратив все свои сбережения на то, чтобы заплатить типографу из Стелленбоса, отпечатавшему несколько сот экземпляров, и переплетчику, который переплел некоторую их часть, а затем начав обходить с ними книжные магазины Кейптауна. Когда же магазины продавать эту книгу отказались, тетя стала таскаться с ней от двери к двери. На полках кладовки стоят остатки переплетенного тиража, а картонки содержат страницы, так и не переплетенные.

Он пытался почитать *«Ewige Genesing»*, но книжка оказалась слишком уж скучной. Едва едва приступив к рассказу о своем проведенном в Германии детстве, Бальтазар дю Биль прерывает его длинными описаниями огней, вспыхивавших в небе, и обращавшихся к нему оттуда же голосов. И похоже, такова вся книга: за короткими кусочками, посвященными автору, следуют пространные пересказы того, что наговорили ему эти голоса. Он и его отец давно уже придумали шуточку насчет тети Энни и ее отца Бальтазара дю Билия. Они произносят название книги нравоучительным тоном проповедника³⁴ – нараспев, растягивая гласные: *«Deur 'n gevaaraarlike krannnnkheid tot eeeewige geneeeeesing»*.

– Отец тети Энни был сумасшедшим? – спрашивает он у матери.

– По-моему, да.

– Тогда зачем она потратила все свои деньги на издание его книги?

– Уж очень она его боялась. Он был ужасным старым немцем, страшно жестоким и властным. Все его дети боялись отца.

– Так ведь он тогда уже умер.

– Ну да, умер, однако она все равно считала, что в долгу перед ним.

Матери не хочется критиковать тетю Энни и ее чувство долга перед сумасшедшим стариком.

Лучшее, что есть в кладовке, – это переплетный пресс – чугунный, тяжелый и цельный, как колесо локомотива. Он уговаривает брата положить руки под пресс и поворачивает огромный винт до тех пор, пока руки не оказываются прижатыми так, что отнять их брат не может. Потом они меняются местами и за винт берется брат.

Еще один или два поворота – и треснут кости, думает он. Что заставляет их сносить это испытание, их обоих?

В один из их первых вустерских месяцев их пригласили на ферму, которая снабжала «Стэндэрд кэннерс» фруктами. Пока взрослые пили чай, он и брат бродили по двору фермы. И наткнулись на кукурузную дробилку. Он убедил брата сунуть руку в воронку для зерен и провернул ручку. И за миг, прежде чем перестал крутить, почувствовал, как дробятся тонкие кости. Брат, весь пепельный от боли, стоял с зажатой в машине рукой, лицо его было недоуменным, вопрошающим.

Хозяева фермы поспешили отвезти всю их семью в больницу, и там врач ампутировал у брата половину среднего пальца левой руки. Какое-то время брат носил перебинтованную руку на перевязи, потом надевал на обрубок пальца черный кожаный наконечничек. Брату было тогда шесть лет. И хотя никто не уверял его, что палец отрастет заново, брат не жаловался.

Он так и не попросил у брата прощения, да никто и не укорял его за то, что он сделал. Тем не менее воспоминание об этом лежит на его душе тяжким грузом: воспоминание о мягком сопротивлении плоти и кости, потом о скрежете.

– По крайней мере, ты можешь гордиться тем, что один из членов твоей семьи что-то сделал в жизни, оставил что-то после себя, – говорит мать.

– Ты же говоришь, что он был ужасным стариком. Жестоким.

³⁴ Predikant (афр.) – проповедник.

– Да, но он потратил свою жизнь не впустую.

На фотографии, которая висит в спальне тети Энни, взгляд у Бальтазара дю Биль суровый и пристальный, а рот узкогубый и жесткий. Рядом с ним стоит его жена, усталая, недовольная. Бальтазар дю Биль познакомился с ней, дочерью еще одного миссионера, когда приехал в Южную Африку, чтобы обращать язычников в христианство. Позже, отправившись в Америку проповедовать Писание, он взял ее и трех рожденных ими детей с собой. На миссурийском колесном пароходе кто-то подарил его дочери Энни яблоко. Она побежала к отцу показать подарок, а отец высек ее за то, что она разговаривала с незнакомым человеком. Вот немногие факты, известные ему о Бальтазаре дю Биле, – не считая тех, что содержатся в громоздкой книге, существующей в чрезмерном для этого мира количестве экземпляров.

У Бальтазара было трое детей: Энни, Луиза – мать его матери – и Альберт, он тоже присутствует на фотографиях, висящих в спальне тети Энни, испуганный мальчик в матросском костюмчике. Ныне Альберт – это дядя Альберт, согбенный старик с припухлым, белым, похожим на гриб лицом, он все время трясется и не может передвигаться без посторонней помощи. Дядя Альберт за всю свою жизнь ни разу нигде настоящего жалованья не получал. Все отпущенные ему дни дядя Альберт потратил на сочинение книг и всяких историй; работать приходилось его жене.

Он спрашивает мать о книгах дяди Альберта. Мать говорит, что читала одну, давно, но ничего из нее не помнит.

– Они очень старомодные. Теперь никто таких не читает.

Он находит в кладовке две книги дяди Альберта, отпечатанные на той же толстой бумаге, что и «*Ewige Genesing*», но переплетенные в коричневую кожу – в точности того же цвета, что у скамеек на железнодорожных станциях. Одна называется «*Kain*», другая «*Die Sondes van die vaders*» – «Грехи отцов».

– Можно я их возьму? – спрашивает он у матери.

– Конечно, – отвечает она. – Никто их не хватится.

Он начинает читать «*Die Sondes van die vaders*», но бросает, дойдя до десятой страницы, – уж больно она скучная.

«Ты должен любить мать, быть ей опорой». Он размышляет о наставлениях тети Энни. «Любить»: слово это он выговаривает с неприязнью. Даже мать уже научилась не говорить ему «люблю тебя», хотя время от времени, когда она прощается с ним на ночь, с ее губ срываются нежные слова: «любовь моя».

В любви он никакого смысла не видит. Когда в фильмах мужчины и женщины целуются под роскошное и низкое пение скрипок, он начинает ерзать на стуле. И клянется, что никогда таким не станет: размякшим, слезливым.

Себя он целовать никому не позволяет, разве только сестрам отца – для них он делает исключение, потому что таков их обычай и ничего другого они не знают. Поцелуи – часть цены, которую он платит за посещение фермы: быстрое касание губами их губ, по счастью всегда сухих. В семье матери целоваться не принято. Да и отца с матерью он целующимися ни разу не видел. Иногда, если им по каким-то причинам приходится притворяться в присутствии других людей, отец целует мать в щеку. Мать подставляет ее неохотно, сердито, словно из-под палки; отец целует ее легко, быстро, нервно.

Пенис отца он видел только один раз. Это было в 1945-м, когда вся семья собралась в Фоэльфонтейне после того, как отец вернулся с войны. Отец с двумя братьями пошли на охоту и его взяли с собой. День был жаркий, дойдя до пруда, они решили искупаться. Поняв, что купаться все собираются голышом, он попытался уйти, но его непустили. Им было весело. Они все время шутили, предложили и ему раздеться и поплавать, он отказался. Вот тогда-то он и увидел целых три пениса сразу, и особенно ясно отцовский – бледный, беловатый. Он хорошо помнит, как негодовал на то, что его вынудили смотреть на это безобразие.

Спят родители отдельно. У них никогда не было двойной кровати. Вообще, единственная двойная кровать, какую он видел, стоит на ферме, в главной спальне, которую занимали когда-то дедушка с бабушкой. Ему двойные кровати представляются старомодными, принадлежащими временам, когда жены рожали в год по ребенку, точно овцы или свиньи. И он благодарен родителям за то, что они покончили с этим делом до того, как он начал понимать, что к чему.

Он готов поверить, что давным-давно, еще в Виктория-Уэст, до его рождения, родители любили друг дружку, поскольку любовь, судя по всему, это предварительное условие брака. В альбоме есть фотографии, которые вроде бы доказывают их любовь: на одной, к примеру, они сидят на пикнике, обнявшись. Но она наверняка закончилась годы тому назад, и он считает, что им от этого только лучше стало.

Что касается его самого, то разве яростные и гневные чувства, которые питает он к матери, как-то связаны с потными восторгами, льющимися с киноэкрана? Мать любит его, это он признает; но в том-то вся и беда, тем-то и неправильно ее отношение к нему. Любовь матери порождается прежде всего ее вечной бдительностью, готовностью наскочить на него и спасти от любой опасности. Он мог бы, если бы захотел (но никогда не захочет), расслабиться, отдаться ее заботам, опираться на нее до конца своих дней. Как раз потому, что он так уверен в ее заботливости, ему и приходится всегда быть настороже, не расслабляться, не давать ей ни единого шанса.

Он заслуживает избавления от ее выжидательного внимания. Придет время, и он добьется этого избавления, утвердит свою самостоятельность, отвергнет мать так грубо, что она, потрясенная, отпрянет и отпустит его. И все же стоит ему лишь подумать об этом мгновении, вообразить ее удивленный взгляд, ощутить ее боль, как его охватывает чувство вины. И тогда он готов сделать все, чтобы смягчить удар: успокаивать ее, обещать, что никогда ее не покинет.

Ощущая боль матери, ощущая так досконально, точно он – часть ее, а она – часть его, он понимает, что сидит в западне, выбраться из которой невозможно. А кто в этом повинен? Он возлагает всю вину на мать, он злится на нее, но и стыдится одновременно своей неблагодарности. *Любовь*: так это и есть любовь – клетка, по которой он снует туда-сюда, туда-сюда, будто несчастный, сбившийся с толку бабуин? И что может понимать в любви невежественная, наивная тетя Энни? Да он знает о жизни в тысячу раз больше, чем она, потратившая вся свою на рукопись сумасшедшего отца. Сердце его старо, мрачно и жестко, как каменное. И это еще одна из его постыдных тайн.

Глава пятнадцатая

Мать проучилась год в университете, прежде чем уступить место в нем своим младшим братьям. Отец – дипломированный атторней; в «Стэндэрд кэннерс» он работает только потому, что открытие практики требует (по словам матери) таких больших денег, какими они не располагают. Он хоть и винит родителей за то, что те не вырастили его нормальным ребенком, однако образованностью их гордится.

Поскольку дома все говорят по-английски, а в школе он первый по английскому языку ученик, он считает себя англичанином. И хотя фамилия у него африкандерская, хотя в его отце больше африкандерского, чем английского, хотя на африкаанс он говорит без тени английского акцента, за африкандера его и на миг никто не принял бы. Тот африкаанс, каким он владеет, узок и бесплотен; существует целый мир, густонаселенный мир сленга и аллюзий, доступный настоящим мальчикам-африкандерам (непристойности – это лишь часть его) и недоступный ему.

Имеется у африкандеров и еще кое-что общее – угрюмость, непримиримость, а где-то за ними, совсем близко, угроза физической расправы (он думает о них как о носорогах: огромных, с крепкими жилами, тяжело ступающих, толкающих, проходя мимо, друг друга) – он и этих качеств с ними не разделяет, а на самом деле и разделять не хочет. Они размахивают своим языком, точно дубинкой, которой обороняются от врагов. Встречая их ватагу на улицах, лучше обходить ее стороной, – собственно, и передвигаясь поодиночке, они сохраняют вид свирепый и угрожающий. Порой во время утреннего построения классов в школьном дворе он обшаривает взглядом ряды африкандеров в поисках кого-нибудь непохожего на всех остальных, кого-то, отмеченного мягкостью. Нет таких. Оказаться когда-нибудь заброшенным в их толпу – немыслимо: они попросту раздавят его, уничтожат его дух.

И все же он, к собственному удивлению, понимает, что отдавать им африкаанс не хочет. Он помнит свой первый приезд в Фоэльфонтейн, ему тогда было года четыре-пять и говорить на африкаансе он совсем не умел. Брат был еще ребенком, которого держали в доме, подальше от солнца, так что играть он мог только с детьми цветных. Он делал с ними лодочки из ореховых скорлупок и спускал их по оросительным канавам. Но был словно немой: все приходилось изображать мимикой и жестами, ему иногда казалось, что он лопнет от мыслей, выразить которые не может. А потом он вдруг открыл рот и заговорил – легко, бегло, не останавливаясь, чтобы подумать. Он и сейчас хорошо помнит, как влетел к матери и закричал: «Послушай! Я на африкаанс говорить умею!»

Когда он говорит на африкаанс, все сложности жизни словно вдруг отлетают куда-то. Африкаанс подобен призрачной оболочке, которую он повсюду носит с собой, он волен всколзнуть в нее и мгновенно обратиться в другого человека – более простого и веселого, с более легкой походкой.

Одно качество англичан огорчает его – качество, подражать коему он не собирается, – их презрение к африкаанс. Когда они приподнимают брови и надменно коверкают слова этого языка – как будто произношение слова *veld* с «в» есть признак подлинного джентльмена, – он их не одобряет: они заблуждаются – хуже того, они смешны. Он не идет на уступки такого рода, даже находясь среди англичан: произносит слова африкаанс так, как их следует произносить, со всеми жесткими согласными и тяжелыми гласными звуками.

В его классе учатся еще несколько мальчиков с африкандерскими фамилиями. С другой стороны, в африкаанских классах мальчиков с английскими фамилиями нет. По его сведениям, среди старшекласников присутствует один африкандер по фамилии Смит, который вполне может оказаться Смизом, но это и все. Жаль, конечно, но оно и понятно: какой же англичанин захочет жениться на африкандерше и завести африкандерскую семью, если все

эти женщины либо огромны и толсты, с раздувшимися грудями и шеями, как у лягушки-вола, либо костлявы и корявы?

Он благодарит Бога за то, что мать его говорит по-английски. А отцу все равно не доверяет, несмотря на Шекспира, Вордсворта и кроссворды из «Кейп таймс». Он не понимает, почему отец старается остаться англичанином даже здесь, в Вустере, где ему так легко было бы снова податься в африкандеры. Детство, проведенное отцом в Принс-Альберте, – он слышал, как отец шутил, вспоминая о нем со своими братьями, – поражает его сходством с жизнью вустерских африкандеров. Осью, вокруг которой оно вращалось, были те же побои, нагота, то же отправление естественных нужд на глазах у других мальчиков, то же животное безразличие к необходимости уединения.

Мысль о превращении в африкандера, бритоголового и босого, приводит его в ужас. Это все равно что в тюрьму попасть, там ведь тоже уединиться нельзя. Без возможности уединения ему попросту не выжить. А если бы он был африкандером, то проводил бы в их обществе каждую минуту каждого дня и ночи. Перспектива невыносимая.

Он помнит три дня, которые прожил в скаутском лагере, помнит, каким был несчастным, как ему хотелось домой, как все было не по нему, как он прокрадывался в свою палатку и сидел в ней один, читая книгу.

Как-то в субботу отец посылает его купить сигарет. Он может доехать на велосипеде до центра города, там есть настоящие магазины с витринами и кассами, а может заглянуть в африкандерскую лавочку у железнодорожного переезда – это просто комната на задах дома с выкрашенным в коричневую краску прилавком и почти пустыми полками. Он выбирает то, что поближе.

Жаркий полдень. В лавке свисают с потолка полоски соленого вяленого мяса, билтонга, повсюду мухи. Он совсем уж собирается сказать стоящему за прилавком мальчику – африкандеру, который ненамного старше его, – что ему нужны двадцать «Антилоп» без фильтра, как в рот его залетает муха. Он с отвращением выплевывает ее. Муха лежит на прилавке, подергиваясь в лужице его слюны.

– *Sies!* – выпаливает один из покупателей.

Ему хочется протестовать: «А что мне было делать? Не выплевывать муху? Проглотить ее? Я же просто ребенок!» Однако этих безжалостных людей никакими объяснениями не проймешь. Он стирает ладонью слюну с прилавка и под неодобрительное молчание расплачивается за сигареты.

Как-то, обмениваясь воспоминаниями о прежних днях на ферме, отец с братьями добираются до собственного отца. «*'n Ware ou jintlman!*» – говорят они, повторяя привычную формулу, и смеются: – *Dis wat hy op sy grafsteen sou gewens het*. «Фермер и джентльмен» – ему бы понравилось, если б на его надгробии написали... Особенно смешным кажется им то, что отец продолжал носить сапоги для верховой езды, когда все остальные обитатели фермы переходили на *velskoen*.

Мать, послушав их, презрительно фыркает. «Вы лучше вспомните, как вы его боялись, – говорит она. – Сигарету не смели при нем закурить, даже когда взрослыми стали».

Они конфузятся, – похоже, мать задела их за живое.

Его дедушка, притязавший на титул джентльмена, владел когда-то не только фермой и половиной отеля во Фрейзербург-Роуд, но и домом в Мервевилле, и перед этим домом стоял флагшток, на котором он в дни рождения короля поднимал «Юнион Джек».

«*'n Ware ou jintlman en 'n ware ou jingo!*» – добавляют братья: Настоящий старый ура-патриот! И смеются снова.

Мать права. Они ведут себя как дети, произносящие за спинами родителей грязные слова. Да и вообще, какое право имеют они вышучивать своего отца? Но если бы они еще и по-

английски не говорили, то походили бы на их соседей вроде Боутсов и Нигрини – тупых и грузных, умеющих разговаривать только об овцах и погоде. По крайней мере, когда собирается *их* семья, слышится веселая болтовня на смешанном языке, смех, а стоит Нигрини или Боутсам заявиться сюда с визитом, как сам воздух становится хмурым, грузным и тусклым. «*Ja-nee*»³⁵, – произносят Боутсы и вздыхают. «*Ja-nee*», – повторяют Кутзее и молятся, чтобы их гости поскорее убрались восвояси.

А что можно сказать о нем? Если почитаемый им дедушка был ура-патриотом, получается, что и он тоже ура-патриот? Когда в биоскопе раздаются звуки «Боже, храни короля» и на экране развевается «Юнион Джек», он выпрямляется, словно вставая по стойке смирно. От пенья волынки у него дрожь пробегает по спине, как и от слов *stalwart, valourous*³⁶.

Он не может понять, почему столь многие из окружающих его людей не любят Англию. Англия – это Дюнкерк и «Битва за Британию». Англия исполняет свой долг и принимает свою участь спокойно, без суеты. Англия – это юноша в Ютландском сражении, который стоял у своей пушки, и палуба горела под ним. Англия – это сэр Ланселот Озерный, и Ричард Львиное Сердце, и Робин Гуд с его длинным луком и костюмом из зеленого линкольнского сукна. А что могут предложить хотя бы сравнимого африкандеры? Дирки Юса, который скакал на коне, пока тот не пал? Пита Ретифа, одураченного зулусами? А после фуртреккеры отомстили, перестреляв тысячи зулусов, у которых и ружей-то не было, и возгордились этим.

В Вустере имеется англиканская церковь, а при ней священник с седыми волосами и трубкой, который еще и возглавляет отряд скаутов и которого английские мальчики из его класса – настоящие англичане с английскими фамилиями и домами в старой, зеленой части города – фамильярно называют «падре». Когда англичанин говорит вот так, он замолкает. Есть английский язык, которым он хорошо владеет. Есть Англия и все, за что стоит Англия, которой он верен, так он считает. Но ведь ясно же, что этого мало для того, чтобы тебя признали настоящим англичанином: необходимо еще пройти испытания, которые он наверняка провалит.

³⁵ Такие дела (*афр.*).

³⁶ Непоколебимый, доблестный (*англ.*).

Глава шестнадцатая

Родители о чем-то договариваются по телефону, о чем именно, он не знает, но на душе у него становится тревожно. Не нравится ему довольная, себе на уме улыбка матери, улыбка, означающая, что она приняла за него какое-то решение.

Это их последние дни в Вустере. И они же лучшие дни учебного года: экзамены сданы, и делать в школе нечего – разве что помогать учителю оценки в табели выставлять.

Мистер Гувс зачитывает перечни оценок, ученики складывают их, предмет за предметом, затем подсчитывают проценты, торопливо, каждому хочется первым поднять руку. Игра состоит в том, чтобы догадаться, кому какие оценки принадлежат. Свои он обычно узнает без труда – последовательность чисел, возрастающих до девяноста и ста с чем-то по арифметике и спадающая до семидесяти по истории и географии.

В истории и географии он не очень успешен потому, что терпеть не может заучивать что-нибудь наизусть – настолько, что откладывает подготовку к экзаменам по этим предметам до последнего: до последней ночи, а то и утра. Даже сам облик учебника истории – жесткая, шоколадного цвета обложка, длинные и скучные списки причин того и этого (причины Наполеоновских войн, причины «Великого трека») – и тот ему ненавистен. Авторы учебника – Тальярд и Схуман. Тальярд представляется ему сухим и тощим, Схуман – полнотелым, лысеющим и очкастым; они сидят один против другого за столом где-то в Парле, раздраженно черкают страницу за страницей и передают их друг другу. По какой причине эти двое написали свою книгу по-английски, он и вообразить не может – разве что хотели показать детям *Engelse* почем фунт лиха.

И география ничем не лучше – списки городов, списки рек, списки производимых продуктов. Когда его просят перечислить продукты, производимые той или иной страной, он всегда заканчивает их перечисление кожами и шкурами и надеется попасть в точку. Разница между кожами и шкурами ему неизвестна, как, собственно, и кому-либо другому.

Что до всех прочих экзаменов, нельзя сказать, что он радостно предвкушает их, но, когда приходит время, сдает с охотой. По части сдачи экзаменов он силен – не будь их, он мало чем отличался бы от других мальчиков. Экзамены приводят его в состояние пьянящего, знобящего волнения, в котором он начинает писать быстро и уверенно. Само состояние ему не нравится, а вот знание, что оно дремлет в нем, ожидая лишь повода, чтобы включиться, действует на него успокоительно.

Иногда ему удается воспроизвести это состояние, его запах и вкус, ударяя камнем о камень и вдыхая дымок: порох, железо, жар, размеренное биение в венах.

Тайна телефонного звонка и улыбки матери раскрывается на утренней перемене, когда мистер Гувс велит ему задержаться в классе. В облике мистера Гувса проступает нечто фальшивое – дружелюбие, которому он не доверяет.

Мистер Гувс приглашает его к себе домой на чашку чая. Он безмолвно кивает, запоминает адрес. Ему это совершенно ни к чему. Не то чтобы он не доверял мистеру Гувсу в той же мере, в какой доверял миссис Сандерсон, учительнице Четвертого Стандартного, но ведь мистер Гувс – мужчина, а от мужчин исходит некое веяние, к которому он относится с подозрением: нетерпеливость, едва обуздываемая грубость, намек на удовольствие при проявлениях жестокости. Он не понимает, как ему вести себя с мистером Гувсом, да и с мужчинами вообще: то ли не оказывать им никакого сопротивления и добиваться их похвалы, то ли отгородиться от них стеной чопорности. С женщинами все проще, потому что они добрее. Впрочем, мистер Гувс – этого отрицать нельзя – человек справедливый настолько, насколько это вообще возможно. Он хорошо знает английский и, похоже, ничего не имеет против англичан или притворяющихся англичанами мальчиков из африкандерских семей. Во время одного из

его многочисленных отсутствий в школе мистер Гувс объяснял разницу между переходными и непереходными глаголами, и он потом не без труда нагнал класс по этой теме. Если бы противопоставление непереходных глаголов переходным было бессмыслицей наподобие идиом, оно, наверное, ставило бы в тупик и других учеников. Однако другие, во всяком случае большинство их, отличали одно от другого с совершеннейшей легкостью. Вывод неизбежен: мистер Гувс знает об английской грамматике что-то такое, чего не знает он.

К трости мистер Гувс прибегает не реже любого другого учителя. Однако излюбленное его наказание, налагаемое, когда класс слишком расшумится и слишком надолго, состоит в том, что он приказывает всем положить перья, закрыть тетрадки, сцепить на затылке руки, зажмуриться и сидеть абсолютно неподвижно.

Если не считать шагов прогуливающегося взад-вперед мистера Гувса, в комнате не раздается ни звука. С обступающих школьный двор эвкалиптов доносится успокоительное воркование голубей. Такое наказание он готов преспокойно сносить хоть целую вечность: голуби, тихое дыхание мальчиков вокруг.

Диса-роуд, на которой стоит дом мистера Гувса, находится все в том же Реюнион-Парке, в новом, северном отростке поселка, – он ни разу сюда не заглядывал. Оказывается, мистер Гувс не только живет в Реюнион-Парке и ездит в школу на велосипеде, у него также есть жена, простая смуглая женщина, и, что еще более удивительно, двое маленьких детей. Все это выясняется в гостиной дома 11 по Диса-роуд, на столе которой его ожидают булочки и чашка чая и в которой, чего он и опасался, его оставляют наедине с мистером Гувсом и ему приходится поддерживать отвратительный, полный фальши разговор.

Дальше – хуже. Мистер Гувс, сменивший галстук и куртку на шорты и носки цвета хаки, старательно притворяется, что, поскольку учебный год позади, а ему предстоит вскоре покинуть Вустер, они двое могут быть друзьями. Собственно говоря, мистер Гувс пытается внушить ему, что друзьями они весь этот год и были: учитель и самый умный из учеников, первый в классе.

От волнения, которое все нарастает в нем, он словно деревенеет. Мистер Гувс предлагает ему еще одну булочку, от отказывается. «Бери-бери!» – говорит мистер Гувс и кладет булочку на его блюдце. Ему не терпится уйти отсюда.

Он так хотел покинуть Вустер, приведя все в полный порядок. Готов был отвести в своей памяти место мистеру Гувсу рядом с миссис Сандерсон – ну, не так чтобы совсем уж рядом, но близко. А теперь мистер Гувс все испортил. Зря он это.

Вторая булочка так и остается несъеденной. Он больше не в силах притворяться и погружается в упрямое молчание. «Тебе пора?» – спрашивает мистер Гувс. Он кивает. Мистер Гувс встает, провожает его до калитки, точно такой же, как у дома 12 по Тополевой авеню, даже петли ее ноют на той же высокой ноте.

По крайней мере, мистеру Гувсу хватает ума не пожимать ему на прощание руку и вообще обойтись без глупостей.

Решение покинуть Вустер связано со «Стэндэрд кэннерс». Отец решает, что никакого будущего у него в «Стэндэрд кэннерс», дела которой, по его словам, идут на спад, нет. И собирается вернуться к юридической практике.

В офисе устраивают прощальную вечеринку, с которой отец возвращается в новых часах. А вскоре после этого отец уезжает в Кейптаун – один, оставив мать организовывать переезд.

Она договаривается с перевозчиком по фамилии Ретиф, соглашающимся за пятнадцать фунтов отвезти в своей машине не только всю мебель, но и их троих.

Рабочие Ретифа грузят мебель в фургон, мать с братом забираются туда же. Он в последний раз быстро обходит дом, прощаясь. У передней двери осталась подставка для зонтов, из которой обычно торчали две клюшки для гольфа и прогулочная трость. «Подставку забыли!» –

кричит он. «Иди сюда! – зовет мать. – Забудь ты про эту подставку!» – «Нет!» – кричит он и не выходит из дома, пока рабочие не выносят ее. «*Dis net 'n ou stuk pyp*», – ворчит Ретиф: Подумаешь, кусок старой трубы.

Так он и узнает: то, что представлялось ему подставкой для зонтов, было обрезком бетонной канализационной трубы, который мать притащила домой и покрасила зеленой краской. Они везут эту ценность с собой в Кейптаун, заодно со старой, покрытой собачьими волосами подушкой, на которой спал Казак, снятой с птичьего вольера и скрученной в рулон проволоочной сеткой, машиной для подачи крикетных мячей и деревянной палкой со знаками азбуки Морзе. Поднимающийся на перевал Байнсклоф фургон Ретифа представляется ему Ноевым ковчегом, спасающим камни и палки их прежней жизни.

За дом в Вустере они платили двенадцать фунтов в месяц. Дом, снятый отцом в Пламстед, обходится в двадцать пять. Он стоит на самом краю Пламстеда, лицом к песчаному простору, поросшему кустами, в которых всего через неделю после их приезда полиция обнаруживает бумажный пакет с мертвым младенцем внутри. В получасе ходьбы в противоположном направлении находится железнодорожная станция Пламстед. Дом построен совсем недавно, как и все дома на Эвремонд-роуд, у него венецианские окна и паркетные полы. Двери в нем покороблены, замки не работают, на заднем дворе – груда мусора.

В соседнем доме живет пара, только-только приехавшая из Англии. Мужчина вечно моет свою машину; женщина, в красных шортах и темных очках, проводит все дни в шезлонге, подставив солнцу длинные белые ноги.

Первое, что необходимо сделать, – найти для него и брата школу. Кейптаун – не Вустер, где все мальчики учатся в единственной мужской школе, а все девочки в единственной женской. В Кейптауне школ много, есть из чего выбрать. Однако, чтобы попасть в хорошую, нужны связи, а связей у них практически нет.

Благодаря влиянию брата матери, Ланса, они получают собеседование в Роденбошской средней мужской школе. Одетый в шорты, рубашку с галстуком и темно-синий блейзер с эмблемой Вустерской мужской школы, он сидит вместе с матерью на скамье у кабинета директора. Когда подходит их очередь, они оказываются в обитой деревянными панелями комнате со множеством фотографий регбийных и крикетных команд. Вопросы директор задает матери: где они живут, чем занимается отец. Потом настает минута, которой он ждал. Мать достает из сумочки школьную характеристику, из коей явствует, что он был лучшим учеником класса и, значит, перед ним должны раскрываться все двери.

Директор школы надевает очки для чтения.

– А, так ты был первым в классе, – говорит он. – Хорошо, хорошо! Но у нас тебе это так просто не далось бы.

Он надеялся, что его будут испытывать: спросят, когда произошло сражение на реке Баффало, или, еще того лучше, предложат решить в уме арифметическую задачу. Однако собеседование уже закончилось.

– Обещать ничего не могу, – говорит директор. – Мы внесем его имя в список очередников и будем надеяться, что кто-то из нынешних учеников покинет школу.

Последняя надежда – на католическую школу Святого Иосифа. У Святого Иосифа списка очередников нет, эта школа берет любого, кто готов оплачивать обучение, цена которого составляет для не католиков двенадцать фунтов в четверть.

Он и мать начинают понимать, что в Кейптауне дети из разных слоев общества и в школах учатся в разных. Святой Иосиф обслуживает если не низший слой, то ближайший к нему. Неудача в попытке устроить сына в школу полнее огорчает мать, но его не расстраивает. Он вообще не знает, к какому слою они принадлежат, где их место. Пока он доволен и тем, что в школу его приняли. Опасность оказаться в африкаансской школе и вести жизнь африкандера

миновала, а это самое главное. Он может расслабиться. Ему даже католиком притворяться больше не придется.

Настоящие англичане в школах наподобие Святого Иосифа не учатся. Однако он каждый день видит их на улицах Рондебоша, идущими в школу или из школы, любит их прямыми светлыми волосами и золотистой кожей, их одеждой, которая никому из них не мала и не велика, их спокойной уверенностью в себе. Они подшучивают друг над другом – легко, без привычных ему криков и грубости. Присоединиться к ним он и не мечтает, но наблюдает за ними и старается перенять их повадки.

Мальчики из Епархиального колледжа, самые английские из всех, не снисходят даже до того, чтобы играть со Святым Иосифом в крикет или регби; живут они в районах для избранных, удаленных от железной дороги, вследствие чего он никогда этих мест не видел и знает их лишь по названиям: Бишопкорт, Фернвуд, Констанция. У них есть сестры, которые учатся в школах наподобие Гершеля или Святого Киприана и о которых они добродушно заботятся, не дают их в обиду. В Вустере он девочек видел редко: у его друзей почему-то всегда только братья и были, не сестры. Теперь же он впервые любит англичанками, такими златоволосыми, такими прекрасными, что ему трудно поверить в возможность их существования на этой земле.

Чтобы оказаться в школе к половине девятого, ему приходится выходить из дома в полвосьмого: полчаса пешего хода до станции, пятнадцать минут езды в поезде, пять минут – от станции до школы, ну и десять минут про запас, на случай непредвиденных задержек. Однако он, боясь опоздать, покидает дом в семь, а у школы оказывается еще до восьми. Он садится в только что отпертом уборщиком классе за свой стол, опускает голову на сложенные руки и ждет.

В ночных кошмарах он ошибается, определяя по часам время, пропускает поезд, поворачивает по пути в школу не туда. И плачет от безнадежного отчаяния.

Единственные мальчики, появляющиеся в школе раньше него, – это братья Де-Фрейтас, чей отец, зеленщик, забрасывает их сюда на заре, направляясь в своем помятом синем грузовичке к продуктовому рынку «Солт-ривер».

Преподаватели Святого Иосифа принадлежат к ордену маристов. Эти братья в их черных сутанах и белых накрахмаленных галстуках представляются ему людьми особенными. На его воображение сильно действует тайна, которая их облакает: тайна происхождения, тайна имен, от которых они отказались. Ему не нравится, что брат Августин, крикетный тренер, приходит на занятия в белой рубашке, черных брюках и крикетных бутсах, точно самый обычный человек. И особенно не по душе ему то, что брат Августин, когда приходит его черед играть за бэтсмена, сует в штаны защитный щиток.

Он не знает, что делают братья, когда не преподают. То крыло школы, в котором они спят, едят и ведут свою частную жизнь, для школьников закрыто, да ему и не хочется заглядывать туда. Ему нравится думать, что живут они как аскеты, пробуждаются в четыре утра, проводят часы в молитве, вкушают скудную пищу, штопают свои носки. Когда кто-то из братьев ведет себя дурно, он изо всех сил старается подыскать этому извинение. Если брат Алексис, к примеру, неприличнейшим образом пукает или просто засыпает на уроках африкаанс, он объясняет это так: брат Алексис – интеллигентный человек, считающий, что учительство ниже его достоинства. А когда брата Жан-Пьера освобождают от обязанностей дежурного по спальне живущих в школьном пансионе учеников младших классов и начинаются разговоры о том, что брат приставал к мальчикам, он просто выкидывает эти рассказы из головы. То, что у братьев могут возникать сексуальные желания, которым они уступают, кажется ему невыносимым.

Поскольку английский язык является родным лишь для немногих из братьев, они наняли для его преподавания мирянина-католика. Мистер Уэлан – ирландец: англичан он ненавидит, а к протестантам питает почти не скрываемую им неприязнь. Кроме того, он не дает себе

труда правильно выговаривать африкаанские фамилии: произнося их, мистер Уэлан неодобрительно поджимает губы, как будто это и не фамилии вовсе, а дикарская тарабарщина.

На уроках английского они тратят большую часть времени на шекспировского «Юлия Цезаря» – метод мистера Уэлана состоит в том, чтобы раздавать мальчикам роли, которые они зачитывают вслух. Помимо этого они делают упражнения из учебника по грамматике и раз в неделю пишут сочинения. На сочинение отводится тридцать минут, в остальные десять мистер Уэлан, не являющийся поклонником домашней работы, проверяет их и выставляет оценки. Это десятиминутное выставление оценок – самый эффектный номер мистера Уэлана, и ученики наблюдают за ним с восторженными улыбками. Воздев синий карандаш, мистер Уэлан бегло просматривает сложенные стопкой тетради. Когда под конец представления он снова складывает их в стопку и вручает старосте, чтобы тот раздал тетради ученикам, класс разражается негромкими ироническими аплодисментами.

Имя мистера Уэлана – Теренс. Он носит коричневую кожаную куртку мотоциклиста и шляпу. В холодную пору он не снимает ее даже в помещении. Мистер Уэлан потирает одной бледной белой ладонью о другую, чтобы согреть их; лицо у него бескровное, точно у трупа. Что он делает в Южной Африке, почему покинул Ирландию, это остается неясным. И к стране, и ко всему, что в ней происходит, мистер Уэлан относится, похоже, без всякого одобрения.

Он пишет для мистера Уэлана сочинения на темы «Характер Марка Антония», «Характер Брута», «Безопасность на дорогах», «Спорт», «Природа». По большей части это скучные, механические упражнения, хотя изредка его охватывает при исполнении их волнение, и ручка начинает словно порхать по странице. В одном из таких сочинений появляется разбойник с большой дороги, затаившийся у обочины в ожидании жертвы. Конь разбойника негромко всхрапывает, из ноздрей животного поднимается в холодный ночной воздух белый парок. Луч лунного света лежит, точно порез, на лице разбойника; пистолет свой он держит под поллой плаща, чтобы не отсырел порох.

Никакого впечатления на мистера Уэлана разбойник не производит. Блеклые глаза учителя проскальзывают по странице, карандаш опускается: 6 1/2. Он почти всегда получает за сочинения 6 1/2, самое большее 7. Мальчики с английскими фамилиями получают 7 1/2 или 8. Ученик, которого зовут Тео Ставропулос, получает, несмотря на его смешную фамилию, 8 за то, что он ходит в хорошей одежде и посещает уроки ораторского искусства. Тео всегда достается роль Марка Антония, а это означает, что ему выпадает привилегия читать «О римляне, сограждане, друзья! Меня своим вниманьем удостойте!»³⁷, самый прославленный монолог пьесы.

В Вустере он приходил в школу полным опасливых предчувствий, но и возбуждения тоже. Конечно, его могли в любую секунду разоблачить, как лжеца, и последствия этого были бы ужасны. И все же школа притягивала его: едва ли не каждый день ему открывалась в ней новая жестокость, новая боль и ненависть – все то, что бурлит под повседневной поверхностью вещей. Он понимал, что происходящее дурно, недопустимо, а он слишком юн, мал и уязвим для того, что ему приходится наблюдать. И тем не менее страсть и неистовство тех дней захватывали его; он испытывал ужас, но жаждал увидеть еще больше, все, что можно было увидеть.

³⁷ Акт III, сцена 2 (перевод П. Козлова).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.